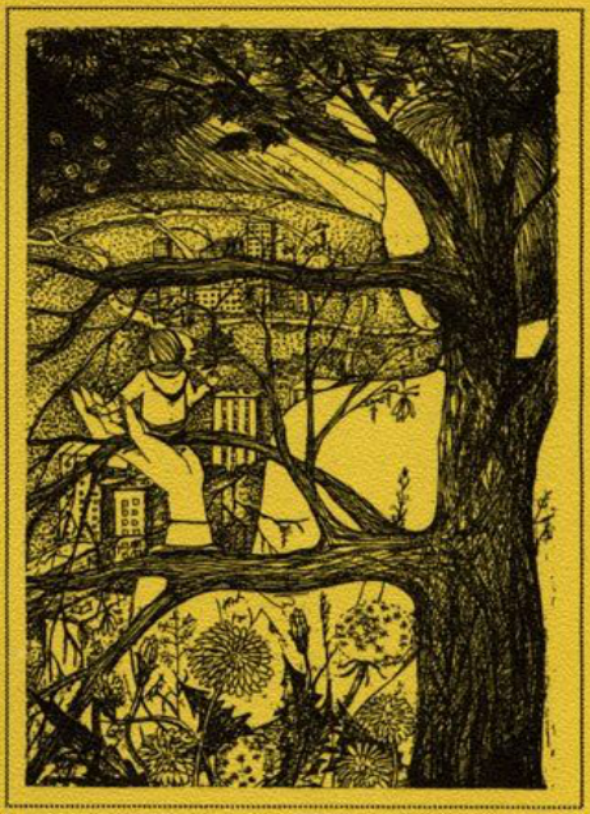
Мария Романушко



Наши зимы и лета, вёсны и осени

роман о детстве

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Мать и маленький сын. «Неполная семья». Может ли жизнь в такой семье быть по-настоящему полной и счастливой? Да, может. Она может быть удивительной, почти сказочной – если не замыкаться на своих невзгодах, если душа матери открыта миру так же, как душа ребенка…

В книге множество сюжетных линий, она многомерна и поэтична. «Наши зимы и лета…» открывают глаза на самоценность каждого мгновения жизни.

Книга адресована родителям, психологам и самому широкому кругу читателей – всем, кому интересен мир детской души и кто сам был рёбенком…

- Мария Романушко
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Глава 12
  - Глава 13
  - Глава 14

Мария Романушко

Пришелец из вечности,
или
Наши зимы и лета, вёсны и осени

роман о детстве

Просто я забыла, сколько мне лет. Я помню, ощущаю только твой – наш! – возраст. И каждый день учусь. С тобой. У тебя. Учусь радости. Учусь удивлению. Когда ты показываешь на какую-нибудь безымянную (но ведь не безымянную на самом деле!) травинку и спрашиваешь: «Как ее зовут?» – меня всякий раз поражает глубокое изумление: как же это я жила до сих пор, не зная её имени? Как я могла жить, не зная, как её зовут? Что это у меня была прежде за жизнь?

Глава 1
Февраль. Месяц первый

Взгляд твой очень далёкий… Сосредоточенно и скорбно ты смотришь куда-то в себя. Ты ещё не вполне пришёл в этот грозный мир, ты ещё в пути… Но иногда на несколько мгновений лицо твое озаряется живым интересом. Я наклоняюсь к тебе, стараясь поймать лучик твоего взгляда, и говорю:

– Антоша, здравствуй! Это я – твоя мама.

Но ты опять уходишь далеко…

«Ёжик мой фарфоровый. В профиль – совершенный ёжик. Кожа тонкая и прозрачная, голубые жилки на висках просвечивают. Маленькие, розовые ушные раковины, завитые в невероятные спирали, улавливающие неведомые мне звуки и сигналы… А глаза – цвета молодых дубовых листочков. Люблю, люблю бесконечно».

«Тельце крошечное, хрупкое. Комочек нервов и тепла. Боюсь переодевать и переворачивать, всё кажется, сломаю что-нибудь…»

«Выносила на пару минут на лоджию, когда солнце вырвалось из-за туч. А зима – всё не кончается. Каждый день – снег, снег, снег… Господи, когда же весна? Бедный мой, и надо же тебе было родиться в такую глубокую и бесконечную зиму…»

Иногда грущу о том времени, когда ты был во мне. Хочется спрятать тебя под сердце и слушать, как ты стучишься своей крошечной пяточкой. Там тебе было тепло и безмятежно, а в этом мире столько испытаний: мокрота, холод, голод…

За окном – морозы под тридцать. А в день твоего рождения было минус тридцать шесть! Я, как белая медведица, родила тебя в самые лютые холода. Пеленая, согреваю тебя своим дыханием. В берложке нашей холодно. Плюс четырнадцать. Окно в толстом мохнатом инее. Бабушка сшила тебе фланелевые пинетки, а то ножки все время мерзнут. И голубые варежки к распашонкам – чтоб не царапал себе личико.

«Спит – как ёжик. Зарывается в пеленки, точно в листву. Нос закрывает голубыми варежками. Надышит, надышит себе тепла – и уснёт… Но вообще спит мало. Вздрагивает и просыпается от малейшего звука, даже от скрипа половиц. И горько обижается. Заходится еле слышным безутешным плачем…»

Особенно трудно по ночам.

Ты не спишь. Такая кроха, а тебя уже мучает бессонница. Нет, ты не плачешь, лежишь молча, глядя широко раскрытыми, тёмными, как ночная вода, глазами в красноватую от света ночника тьму, клубящуюся над колыбелькой…

Потом переводишь немигающий взгляд на тёмное окно. Там и ночью идёт снег. Глухой плотной стеной закрыл он от нас небо и свет звезд.

О чем ты думаешь, сынок? Скажи хоть словечко. Я робею перед твоим немигающим взглядом. Боюсь твоего ночного молчания. Даже плач твой был бы мне сейчас в утешение. Но ты молчишь.

Ночью ты старше меня. Днём – всё понятно: накормить, искупать, перепеленать, днём – ты моё дитя. А ночью?… Скажи хоть словечко.

Что тебе видится в этом красноватом мареве, за этим тёмным окном, занавешенным плотной пеленой снега? Неужели и тебе не дает покоя то, отчего не сплю по ночам я?…

…Белые стены, переходящие, переплывающие в потолок, белый омут потолка, уходящий в мутную бесконечность… Густой туман, колышащийся вокруг, неожиданно начинает каменеть и падать, давить, наваливаясь бесформенными, угловатыми, давящими глыбами; эти глыбы падают, наваливаясь на грудь, громоздятся – уже нечем дышать, невозможно, нет сил сделать хотя бы один вдох… Но нужно пересилить их. Нужно дышать. Не ради себя – ради *него*. Он слабее меня, он раньше не выдержит… Ради него, который страдает во мне, ради него ещё один вдох, ещё один… Почему ты не рвёшься на волю из-под этих удушающих глыб, почему не хочешь помочь себе? Маленький, родной, ты уже выбился из сил… Когда началась наша борьба, когда мы оказались здесь, заваленные этими плитами, этой смертельной тяжестью?… Сколько времени прошло? Было утро…

Утро. «Скорая» с раздирающей душу сиреной, мчащаяся по заснеженным, оцепеневшим, морозным улицам. Крепкая, жёсткая рука доктора на моём запястье. Приёмный покой. Белая жёсткая хламида на голом теле. Холодный кафельный пол обжигает босые ноги. «А тапочки, няня?» – «Родишь, тогда выдадут». – «Так ведь холодно…» – «Не положено, тебе говорят. А крестик-то сыми. Тоже моду тут завели…» – «Но, няня!…» – «Сыми, сыми! Не положено, тебе говорят.»

Было утро, и долгий ледяной день, и растянувшийся в вечность, освещённый голой желтоватой лампочкой у потолка, вечер, и сбившаяся в тёмный, душный клубок, ночь, и снова

утро… Когда это было? Пересохшее, жестяное от жажды горло. Едва шевелится с бумажным шелестом пересохший язык. Тогда я ещё отдавала себе отчёт о времени, я ещё надеялась: придут, помогут, не ради меня – ради *него*, ведь он совсем маленький, и я уже ничего не могу сделать ради него. Ничего, кроме последнего вдоха. Последнего. Прости меня. Больше нет сил…

Где-то – далеко, глухо – сквозь глухие, душные стены, как из-под воды, едва слышно, о ком это?… «Доктор! Она не дышит!…»

Белая пелена задвигалась, больно заёрзала углами, нехотя освобождая из своих каменных объятий. Ещё чуть-чуть, ещё немного жизненного пространства, сняли, оттащили в сторону одну плиту, ещё одну… Белая муть озарилась оранжевым, слепящим глаза заревом – солнце! Полуденное зимнее солнце в каменной клети! Белые суетящиеся тени, тревожные голоса:

– Как ребенок?

– Сердце не прослушивается…

О ком они? Неужто о тебе?… Без тебя не хочу! *Не хочу*! Оранжевое зарево на стене меркнет… Далёкие, приглушенные навалившейся тёмной глыбой, голоса: «Доктор, она опять не дышит!…»

…Где я? Тихо. Светло. Резкое металлическое звяканье. Резкие запахи, обдающие свежестью и тревогой. Круглые часы на стене. Обе стрелки – на двенадцати. Полдень или полночь? Сон или явь? Невозможно шевельнуть пальцем. Но дышать уже легко. Откопали… Что-то горячее неудержимо хлещет из меня… Всё легче, всё пустыннее… Безликие тени суетятся где-то в ногах. Оттуда – доносится металлическое звяканье. Оттуда – резкий прибой тревоги, заливающей меня…

– У вас мальчик, мамочка.

– Почему он не кричит? Покажите мне его…

Чьи-то руки подымают крошечное синеватое тельце с крупной темноволосой головой. Головка устало клонится на бок…

Чей-то бодрящийся голос:

– Головастый! Таких головастых трудно рожать.

Другой, суровый:

– Мы вас предупреждаем, мамочка: ваш ребёнок может быть идиотом.

Тёмный скорбный взгляд, раздирающий мне сердце. Родной мой, о чём они?

– Длительное кислородное голодание… клетки мозга…

– Идиотом?… Посмотрите в его глаза, доктор! Посмотрите!

– Ну, дай-то бог. Пусть ваш мальчик будет исключением…

«Не спите! Вам нельзя спать!» – гремит надо мной голос. Сердце от испуга подкатывает к горлу и колотится там, мешая вдохнуть. Да я и не спала вовсе. Красноватое марево потолка. Плотная стена снега за тёмным окном. Я не сплю, я только прикрыла на минуту глаза… Разве я могу спать, когда мой мальчик уже которую ночь бессонно смотрит в потолок? Сыночек, неужели и тебя мучит тот же кошмар? Неужели *это* никогда не отойдёт от нас, и нам никогда не будут сниться счастливые сны?…

Глухой снегопад за окном… В комнате весь день серые сумерки. Хлопают двери, топот ног, грязные мокрые следы на полу. Грузчики выносят книжные шкафы и ящики с книгами. Стою у твоей кроватки, прикрыв тебя от сквозняка. Ты спрашиваешь меня… Нет, ты ещё ни о чём не спрашиваешь. Но когда-нибудь наверняка спросишь о человеке, который ходит сейчас по комнате, не скинув мокрого от снега пальто, торопливо собирает вещи, стараясь не глядеть в твою сторону. Это твой отец.

Тебе сегодня двадцать пять дней. И этот день ты никогда не вспомнишь – ты сладко посапываешь в своей колыбельке, зарывшись в пелёнки, как в листву…

Тяжёлый, тёмный снегопад за окном. С дождём и туманом.

Ну, вот мы и остались одни. В полупустой, гулкой, неожиданно огромной комнате сгущаются сумерки… Светло лишь в том углу, где твоя колыбелька…

«У тебя такие большие кулачки! Величиной с половину твоей головки.

Спишь, подперев щёку кулаком. И хмурки между бровей. Всё думаешь, думаешь о чём-то своем… Мужичок мой маленький.

«Ты ещё так мал, а я уже опираюсь на твоё хрупкое плечико. Выкарабкаемся, сынок, правда? Всё у нас с тобой будет прекрасно. Уже сейчас прекрасно! Ведь нас *двое* в этом мире.»

«А ещё ты похож на птичку! Так трогательно машешь своими голубыми варежками, словно крылышками. Машешь, машешь, вот-вот улетишь!…»

Ты уже почти совсем пришёл *сюда*. Ты узнаёшь меня. Откликаешься дрыганьем и визгом на мой голос. Тебе понравилось засыпать с песенкой.

Пою «Средь шумного бала», больше ничего не умею. Слушаешь внимательно. И незаметно засыпаешь, прикрыв себя

голубыми крылышками…

А за окнами валит и валит тяжёлый мокрый снег… Ничего, когда-нибудь и зиме придёт конец.

Глава 2
В ожидании тебя

…Той осенью, в деревне, просыпаясь по ночам от упрямых, неспокойных толчков под сердцем, я слушала, как шумит осенний лес, как падают яблоки в ночном саду, как тихий, ещё тёплый дождь скребётся о бревенчатую стену дома. Его монотонное шуршание походило на шарканье веника, будто кто-то обметал со стены паутину…

Той осенью, в деревне… Клеверное поле за домом. Старуха-хозяйка, словно язычница, молящаяся по вечерам на звёзды. Сады, гнущиеся от яблок. Яблок в ту осень уродилось видимо-невидимо… Лес за клеверным полем. Голубая, похожая на каплю, луковка деревянной церквушки. В лесу кладбище. Тихая светловолосая девочка, живущая по соседству.

Мы почти не разговариваем с ней, я даже не знаю её имени, но с первой же встречи у нас с ней возникло молчаливое, не нуждающееся в словах понимание.

Тёплое, солнечное утро. Я сижу в клеверном поле, подставив лицо сентябрьскому солнцу. Неподалеку сидит моя тихая девочка и плетёт свой венок. Изредка она подымает светловолосую головку и взглядывает на меня. В её серых глазах лукавое детское любопытство и – взрослое понимание. А ты проснулся. И пяткой или кулачком даёшь мне об этом знать. Доброе утро, сынок. Что-то ты чересчур расшалился сегодня. Уже скоро, скоро… Скоро вырвешься на свободу. Потерпи самую малость. Ласково пригревает сентябрьское солнце. Светловолосая девочка плетёт свой венок. Вот она опять взглянула на меня, и мы улыбнулись друг другу…

Той осенью, в деревне, ты соединил меня с тишиной, полем, лесом. Первая наша-с-тобой осень. Долгая, тихая, клеверная, яблоневая…

– Что же это муженёк твой оставил тебя в таком положении одну, на зиму глядя? – сокрушается хозяйка дома, где мы сняли комнату на всю осень.

– Он, бабушка, в Грецию поехал, по туристической, через месяц вернётся.

– А тебя чего ж не взял?

– Да куда мне сейчас по заграницам ездить?

– Так и сам бы не ездил. Чудно у вас как-то, у молодых. Я помню, когда первенца ждала, мой от меня ни на шаг не

отходил… Не скучно тебе тут-то одной? Все дачники уж поразъехались. Что это выбралась на зиму глядя?

– Так всё лето по больницам… Надо же *ему* воздухом подышать.

– Ну, дыши, дыши… Воду только не таскай, сама принесу. И в лес далеко не ходи, по опушечке гуляй, мало ли что…

Старуха сочувственно смотрит на меня, качает головой. И деликатно переводит разговор на другое:

– Как скажешь: печку топить будем? Небось, к утру похолодает, все кости ломит…

– А я, бабушка, всю жизнь мечтала в деревне осенью пожить – до самого снега. Другого раза, может быть, не представится…

– Что тут нынче хорошего? В старые времена по осени в деревнях свадьбы шумели, а сейчас тишь, скукота. Только летом, когда дачники из Москвы наезжают, и порадуются старухи, на детишек-то. Визг в каждой ограде… Я уж который год Наталье сдаю, две комнаты, веранду тоже: семь детишек – шутка ли! Погодки. Младшему, Николке, ещё двух нет. Нынче это вроде как мода такая – помногу иметь. Да разве с нынешними мужиками такую моду заводить? Нынче летом, гляжу, Наталья одна приезжает, без мужика. А Мишка, спрашиваю, твой-то где? Разошлись, говорит, и смеется. А я и не понимаю, шутит, али нет. Какие тут шутки, говорит. Полюбил, говорит, другую и ушёл. Как так другую, креста на нём нет! А детишки как же теперича без отца? Зачем, говорю, на свет сирот пускали? Да вы не волнуйтесь, матушка. Она меня матушкой по старинке зовёт, а она мне и впрямь, как дочка родная, у меня-то только сыны были, трое, да и тех война прибрала, ни одного не оставила на старости порадоваться… Вот к Наталье сердцем и прикипела, да к детишкам её, они мне как внуки родные. Я и денег-то в этот раз уж брать не хотела, да Наталья всё равно на буфете, под коробочкой, оставила… Как же, говорю, мне не волноваться? Судить таких надо! Другую полюбил! Да мы, говорит, друзьями остались, детей он любит, детей не хочу против него настраивать, пусть приходит. Слышь, друзьями, говорит, остались! Пусть, говорит, лучше к нам от неё бегает, нежели от нас к ней… Что за жисть пошла! – сокрушается старуха и сердито гремит заслонкой. – То ли мужик такой порченый пошёл, трухлявый изнутри, то ли баба никудышняя – удержать не может. Семь штук, погодки! А Николушка, лобастенький, глазёнки синие – весь в отца, Наталья-то чернявая, уж такой ласковый! Как уйти от такого, креста на них нет, окаянных! Старшая-то девчонка, Катюшка, совсем, гляжу, почернела, под глазами синячищи, эта-то всё понимает… Друзьями остались! Когда друг энтот всю эту ораву навещал, у

меня аж сердце заходилось, уйду в огород и копаюсь там, покуда не сгинет, иуда улыбчатый. Всё улыбается, всё ему нипочём. Что это вы, говорит, матушка, невесёлая? Жизнь, говорит, прекрасная вещь, надо ей радоваться. Какая я тебе, иуда, матушка? Сказала бы я тебе, кто тебе матушка, да при детишках не хочу. Ну, думаю про себя, он-то ладно, кот блудливый, ну а она-то, она-то, что от семерых увела! Это ж какой сукиной дочкой надо быть, чтобы от семерых увести! И поди рада-радёхонька, что мужика заловила. Мужик нынче нарасхват… Ты за своим, дочка, в оба смотри, это я тебе, насмотревшись на жисть, говорю. Рано он у тебя по энскурсиям ударился…

– Мне одной спокойнее, бабушка. Да и не одна я, двое нас.

Старуха недоверчиво смотрит на меня, недоверчиво качает головой, гремит кочерёжкой, выгребая золу.

– Небось, снег к утру ляжет, – ворчит она, опять меняя тему разговора. – Косточки все так и ломит, так и ломит… Когда во двор выходишь, телогрейку мою надевай. Застужаться тебе никак нельзя, во чреве носишь…

Ночь первого снега. Я сижу у печки и смотрю на огонь…

Как случилось, что я оказалась здесь, в деревне, в тёмной избе, заваленной мокрым октябрьским снегом, одна?…

Той осенью, в деревне, я спасалась тобой от одиночества, от горького недоумения. Уже тогда я знала, что ты да я, да мы с тобой – это вся наша семья. Но я старалась быть счастливой. Несмотря ни на что.

И я действительно была счастлива. Я ходила по лесу, прислушиваясь к тебе, я разговаривала с тобой, я искала у тебя поддержку – и находила её. Нет, не в твоих силах было соединить то, что соединить невозможно. «Зато у меня будет сын!» – думала я, бредя по мокрой лесной тропе, устланной тёмными иглами и жёлтой листвой, запорошенной влажным снегом… «У меня будет сын!…»

Всю жизнь я мечтала о тебе. У меня не было ни отца, ни брата, ни деда, даже дяди не было. Но я знала: когда-нибудь у меня будет СЫН. Я мечтала о тебе ещё с тех давних пор, когда думала, что детей приносит аист… Я жила в мечтах о тебе, в предчувствии тебя – но никогда БЕЗ тебя. Ещё девчонкой, глядя на уроке в синее, сумрачное окно, не слыша голоса учителя, я придумывала для тебя имя. Уже тогда, задолго до этой осени, твоё имя стояло первым в списке возможных. До тех пор, пока не осталось единственным…

Врачи не скрывали, чем может для меня обернуться твой приход в этот мир. И той осенью, в деревне, где я жила в

ожидании тебя, я часто ловила себя на том, что дышу сырым, пахнущим снегом воздухом с такой жадностью, словно это моя последняя осень…

…Вот нас и двое, сынок, в этом мире. Когда-нибудь ты спросишь меня, почему нас только двое. Но до этого времени, когда ты начнёшь задавать вопросы, ещё далеко…

Глава 3
Между вечностью и детством

Март. Уже второй месяц живёшь ты на Земле.

Младенчество – пограничная зона между вечностью и детством. Детство подаёт тебе знаки, завладевает твоим вниманием, манит тебя в свою страну. Вечность нехотя отпускает тебя…

Твои тёмно-золотистые, почти чёрные глаза, большие и круглые, глядящие словно бы из глубины огромного удивления, из глубины невысказанного вопроса: «Где я?…» Суровая складка между бровей. Взгляд скорбный и напряжённый. Маленький сфинкс. Загадка. Пришелец из вечности. Разгадаю ли я тебя когда-нибудь?…

Планета, на которую ты пришёл, ждала тебя.

За окном мрак и холод, мокрый снег вперемешку с дождём, но в гнёздышке нашем – тепло и уют. Пока что вся твоя планета здесь. Большая планета – в образе планеты маленькой: комната, кроватка, голубая коляска, ванна с золотистой водой…

На этой планете тебя дожидались: жёлтый глазастый лягушонок, синяя рыба, большой белый пёс и шут с бубенчиками на колпаке, три кактусёнка на окне, зонтик в разноцветных заплатах и маленькая скрипка… Тебя здесь давно ждали. К встрече с тобой готовились.

Каждый раз, склоняясь над твоей кроваткой, или беря тебя на руки, волнуюсь: хочу тебе понравиться. Могу ли я подойти к тебе в старом халате и с кислой миной на лице (даже если не спала двое суток кряду)? Что ты подумаешь обо мне, мой милый пришелец? Нет, на этой планете, куда ты пришёл, не умеют кукситься, не знают усталости и сплина. Разве можно устать от счастья? Разве можно впасть в тоску и меланхолию в твоём присутствии? В присутствии пришельца из вечности…

Странный, загадочный, таинственный. Маленький, слабый, беспомощный. Ты, мой ребёнок.

Кто мне поможет понять тебя?…

Вот погремушка. Смотри, какая яркая и звонкая!… Нет, ты не откликаешься на неё. Не отзываешься. Мои сигналы не дошли до тебя. Но ты откликаешься на другую, совсем простенькую и неяркую. Эта погремушка, три зелёненьких колокольчика, стала нашим переводчиком, моей первой помощницей. Расплакался

ночью, когда я пеленала тебя, – позвенела над тобой зелёными колокольчиками – и ты замер, затих… Что тебе слышится в её мерцающем, словно бы приглушённом звоне?…

Постепенно ты выходишь из своей задумчивой сосредоточенности. Ты начинаешь реагировать на окружающий мир, уже откликаешься на его звуки, краски, призывные голоса…

«Антоша, здравствуй!» – и в ответ словно бы светлый мотылёк слетает с твоего лица… Первая улыбка! И серый, мрачный, под стать февралю, март окрасился в ослепительные тона… Ты улыбнулся!

Конечно, всё это было, было тысячи раз, со всеми и с каждым, всё это будет – но не с тобой, не с нами, с другими людьми. А твоя первая улыбка, обращённая ко мне, – единственна, неповторима…

* * *

Каждое утро прибегает мама. На удивление быстро вжилась она в новую для себя роль бабушки.

– Ну, как вы тут?

Она могла бы и не задавать этот вопрос – с её способностью слышать и чувствовать на расстоянии, как близком (живя на соседней улице), так и далёком…

…Той осенью, в деревне, где я жила в ожидании тебя, в тот вечер, когда нахлынула первая метель, и с ней – холодная, обжигающая тоска… В тот вечер, когда казалось, что не выстоять мне в одиночку под её натиском… И горький упрёк готов был рвануться к тёмному небу: «Господи, почему всё так?…» Тихий стук в окно вывел меня из оцепенения. Была уже почти ночь. За окошком – на деревенской, рано засыпающей улице – ни огонька, ни души. Темень да глушь, только белые мохнатые хлопья приникают к стеклу… Стук повторился. Распахиваю окно – под окном мама! «Боже мой, как ты добралась?!» – «Я почувствовала, что тебе плохо… Успела на последний автобус…»

– Ну, как вы тут? – спрашивает она. – Опять не спали?

– Опять…

Твоя бессонница – одна из тайн, из которых соткано твоё существо. Почему ты не можешь уснуть? Ты не голоден, тебе

тепло и уютно в твоей кроватке, я двигаюсь по квартире бесшумно, как кошка, но ты вздрагиваешь от чего-то, неведомого мне, и просыпаешься, проспав всего лишь минуту-другую.

И по ночам всё так же уходишь от меня… Не плачешь. Молчишь. Даже жутко становится. О чем ты думаешь в эти длинные тёмные ночи? В каких неведомых мне далях витают твои мысли? Что не даёт тебе покоя – воспоминания или предчувствия?…

В такие ночи мне кажется, что ты знаешь и пережил то, чего я не знаю и не пережила. Родной мой, заговорил бы ты скорее! Какой беспомощной невежей кажусь я себе в эти мучительные долгие ночи…

* * *

Заходил приятель. Несостоявшийся партнёр по цирку. Вернее, это я его несостоявшаяся партнёрша. Ну, что ж… прощай, девочка с зонтиком в заплатах?… Не так просто распрощаться с тобой. Грустно и больно. Но другое – невиданное, незнакомое – утишает грусть и заглушает боль. Такая великая радость, такая чудесная загадка вошли в мою жизнь и заполнили каждый её день. Каждую минуту. Теперь уже не до игры с зонтиком в заплатах… Настало другое время: время новых забот и новых игр…

Видишь жёлтого глазастого лягушонка? Он смешно дрыгается над твоей кроваткой, повиснув в воздухе на невидимой нитке. Он парит над тобой жёлтым глазастым солнышком. «Ау, маленький пришелец!» Откликнешься? Уловишь мой сигнал?… Откликнулся! Визжишь от восторга, ручками и ножками дрыгаешь… Спасибо жёлтому лягушонку. Вот и ещё одна ниточка между мной и тобой… А это – синяя рыба! Правда, тебе нравится? И синяя погремушка с тихим нежным звоном тоже нравится. Ты с ней не расстаешься. Я вызваниваю тебе на зелёных колокольчиках – ты отвечаешь мне голубым нежным звоном…

Вот и ещё один шажок навстречу друг другу.

Ты: от вечности – к детству. Я: к детству – от суеты взрослой жизни. К жёлтому лягушонку. К синей рыбе. К общей радости. А через общую радость – друг к другу…

Лицо твоё день ото дня всё оживлённее. Радость, любопытство, лукавство расцветают на нём, придя на смену отрешённости и скорби первого месяца. Лицо твоё постепенно

наполняется *детством*.

Не будет у меня ни цирка, ни пантомимы. И если войду теперь в цирк – то только зрителем…

Тогда зачем так призывно звучал для меня марш Дунаевского? И почему так кружилась всегда голова от этого волшебного запаха – запаха опилок и лошадей? («Могут ли быть запахи слаще?…» – думала я.) И почему так притягивал этот красный замкнутый круг в перекрестье софитных огней?… Почему так тянуло ступить на него, войти в его заколдованное пространство?… Разгадаю ли я когда-нибудь истинный смысл этих призывов? Скажу ли я когда-нибудь этому манящему миру свое «люблю»? Узнаю ли радость быть услышанной?…

Беру тебя на руки. Ты пахнешь воробышком, вынутым из гнезда, пахнешь молоком и цветочной пыльцой… Могут ли быть запахи слаще?…

Переоценка ценностей? Отречение от мечты?… Но разве мечта о тебе не была прежде всех остальных? Разве не о тебе мечтала я, няньча свою первую куклу?…

Кроватка – таз с бельём – плита – кроватка – таз с бельём – кроватка… Мой счастливый замкнутый круг. Мой маленький манеж, на котором я верчусь двадцать четыре часа в сутки, сразу во всех ролях. Лучшие цирковые ковёрные могут позавидовать моей неутомимости, моему проворству, моему умению улыбаться и радоваться – двадцать четыре часа в сутки. «Вуаля!» – и полсотни пелёнок трепыхаются на мартовском ветру… «Вуаля!» – и ни одной пылинки на нашей планете, сияет чистотой наша маленькая арена. «Вуаля!» – и батарея сверкающих бутылочек выскакивает из мойки. «Вуаля!» – и готова каша. «Вуаля…» – и в глазах темно от усталости: только бы не упасть…

Конечно, бабушка пока на подхвате. Пока мы кружимся на этой карусели вдвоем. Кружимся до головокружения… Но с удивлением обнаруживаем, что всё время… тихонько напеваем! И я, и она.

А через месяц – бабушке на работу, и нужно учиться обходиться самой, нужно учиться играть на этом органе в две, а не в четыре руки. «Вуаля!» – а скоро весенняя сессия, но об этом лучше пока не думать. «Вуаля!» – я подхватываю тебя на руки, солнце бьёт в окно, слепяще и жарко – как цирковой софит…

* * *

Тебя интересуют новые лица. Рассматриваешь. Удивляешься. Морщишь лоб – думаешь?… Кажется, вот-вот заговоришь. Чувствуется в тебе такое желание.

Любишь, когда мы с тобой гуляем по комнате. Так и крутишь головой. Внимательно рассматриваешь плед на стене, будто вчитываешься в замысловатый узор. Скользишь взглядом по корешкам книг на полке… Все они ждут тебя, сынок, только подрастай. А это – скрипка. А это – зонтик в заплатах. Когда-нибудь я расскажу тебе и про Зонтик, и про Скрипку…

Особенной привязанностью пользуется у тебя зажжённая люстра. Помню, ещё в роддоме ты находил глазами яркую лампу у потолка и смотрел на неё, не мигая. Почему так притягивает тебя этот яркий, слепящий свет? О чем он напоминает тебе?…

* * *

А ещё пришельцы из далёких миров любят свободу!

Странным, непостижимым для меня образом ты выпутываешься из пелёнок, выскальзываешь из распашонок! Подняв одеяло, я то и дело нахожу тебя голеньким. Да здравствует свобода! – говорят твои весело дрыгающиеся ручки и ножки. Кто сказал, что человек полутора месяцев от роду должен быть спелёнутым по рукам и ногам? Прочь пелёнки! Да здравствуют ползунки!

«Да здравствует свобода!» – слышится мне в твоих упоительных визгах, когда я выпускаю тебя, голенького, на необозримый простор тахты. Ты ещё не ползаешь, хотя и сучишь старательно ножками, но ты видишь, чувствуешь простор вокруг себя, – он волнует и манит…

Воздух и весеннее солнце, заливающее комнату, ласкают тебя. Ты весь умещаешься в моих ладонях. Разбегающаяся, разлетающаяся галактика, помещённая в крошечное тельце, свернувшееся на мгновение тёплым клубком… Ты одаряешь меня чудесными улыбками, машешь руками, точно крылышками… Солнце. За окном снежный март. Ты, маленький, как котёнок, в моих ладонях. Чувствую себя большой кошкой, даже урчать хочется от нежности…

* * *

…А потом ты увидел свои пальчики. Это было настоящим открытием для тебя. Крошечные создания вспархивали над тобой, их было много, и каждый жил как бы сам по себе. Тебе захотелось посмотреть на них поближе – и они тут же приблизились к твоему лицу. Тебе захотелось попробовать их языком, и они чудесным образом отгадали твоё желание – и тут же оказались у тебя во рту. Они были тёплые, мягонькие и пахли молоком. Они мгновенно исполняли малейшее твоё желание, ещё не осознанное, ещё не имеющее названия. Но они догадывались о нём – и тут же исполняли, и ты счастливо смеялся, повизгивая от удовольствия… Эти послушные, ласковые существа надолго заняли твоё воображение, завладели твоим вниманием.

Теперь день начинался с приятельского приветствия и заполнялся игрой, которая не могла наскучить, у которой не было конца…

* * *

Неужели ты уже никогда не будешь таким, как сегодня? Время так летит… Хочется удержать в памяти каждую минуту. В тебе – стремительные перемены, словно время для тебя течёт по-другому…

Стоит мне ненадолго выйти из комнаты, возвращаюсь – ты уже новый, незнакомый. Что-то успело произойти в тебе за эту минуту, что-то важное, глубинное, наполнившее твой взгляд новым выражением, новым смыслом… «Здравствуй!» – говорю я тебе. – Здравствуй!»

Ты для меня – необъятный, непостижимый мир. Умом не постижимый – постигаю сердцем. Взгляды, улыбки, прикосновения – те тропинки, по которым мы идём друг к другу…

* * *

…Измученная твоей бессонницей, возила тебя на консультацию к профессору.

К специалистке по родовым травмам. Профессор только взяла

тебя на руки, а ты как закричишь: «Ма-ма-а!…» Она засмеялась и говорит: «Маму любить очень будет».

Сказала, что мы ещё хорошо отделались, могло быть и совсем плохо.

Слишком трудным был для тебя приход в этот мир. И бессонница твоя – от усталости. Слишком устал…

Теперь лечимся. Даю тебе лекарства, прописанные профессором. Пьёшь безропотно.

Научилась делать массаж. Купаю тебя в травках: ромашка, шалфей, череда – так пахуче! Травяные купания посреди зимы… После купания круглые крошечные пятки – розовые, как лепестки шиповника…

Каждый день – снег, а то и метель. Ещё и это испытание.

Родился в 36-градусные морозы, и вот уже марту конец, а зима всё бушует, и не видно ей конца…

А твою бессонницу мы вылечим, малыш. Обязательно вылечим.

* * *

Ты во всём зависишь от меня. А я – от тебя.

Врачи говорят: набирайтесь терпения. Пророчат: будет много болеть, болеть будет трудно.

Учусь не впадать в панику, не отчаиваться. Учусь быть всегда в хорошем настроении, ведь моя улыбка – твоё первое лекарство.

Всматриваюсь в тебя. Вслушиваюсь. Ты так сложно устроен… Подскажи.

Научи. Научи быть твоей мамой. Твоим лекарем. Твоим ведом.

Да, доктора, конечно, правы. Конечно, нам нелегко. Но «трудно» не значит «невозможно». Доктора не знают самого главного.

Они не знают, как я люблю тебя. Не знают, какой ты чудесный учитель и какая я старательная ученица. Я у тебя. Ты у меня.

…Удивительно, как мало книг написано о вас, маленьких загадочных пришельцах. Как легко сводятся рассказы о вас к элементарному: купаниям, кормлениям, пеленаниям. Как обыденны эти практические советы, как далеки они от сути

происходящего, происходящего у меня на глазах, изо дня в день – и всё равно покрытого тайной…

Маленький загадочный сфинкс, инопланетянин, пришелец из вечности.

О чем ты думаешь, когда между бровей твоих залегает мучительная складка, когда лоб твой покрывается старческими морщинами? Что ты думаешь о мире, в который пришёл? Что ты думаешь обо мне?

«Он ещё ни о чём не думает. Он ещё мал для размышлений». Не заблуждение ли это наше – обычное для нас, выросших из детских распашонок, выросших из тайны – и позабывших о ней?…

Не грустное ли это заблуждение?…

* * *

Никакие лекарства не в силах справиться с твоей бессонницей. Но не будем отчаиваться, малыш. Я уже не верю в таблетки и микстуры, но я верю в ритм! Верю в чудесный, целительный ритм пробуждений и засыпаний, прикосновений и разговоров, прогулок и купаний…

Даже цветок открывает и закрывает свои лепестки в один и тот же час, даже птица в лесу поёт свою песню в один и тот же час. В свой час. Даже муравьи знают час, когда закрывать входы в муравейник, и уносить в спальни своих куколок…

Я приучаю тебя слышать эту удивительную мелодию жизни.

Ты поплачешь, похнычешь, жалуясь самому себе на моё отсутствие, но твои глазки, насмотревшись на жёлтого лягушонка, висящего над твоей кроваткой, скажут: «Спать». Твои ручки, утомившись от порхания, и наигравшись друг другом, скажут: «Спать». Голосок твой стихнет и ты незаметно для себя прикроешь глаза… Даже цветы, даже птицы слышат и знают эту чудесную, волшебную мелодию просыпаний-кормлений-гуляний-засыпаний… Любой цветок, любая птица в лесу. Знают, когда петь, когда пить росу и клевать зерно. Любой цветок, любая птица в лесу…

* * *

Тебе два месяца! На дне рождения были приятель с женой. Как ты изучал рыжую бороду незнакомого дяди! Какие складки на лбу, сколько недоумения в твоих глазах, сколько вопросов на лице!… Был нешуточно потрясен. Долго не мог уснуть от пережитого волнения…

А потом мы с гостями сидели на кухне и пили чай. Разговор не клеился. Заметила: стала некоммуникабельной. Не могу говорить ни о чём, кроме тебя, кроме того, что происходит сейчас с тобой, со мной, с нами.

Но об этом говорить трудно, почти невозможно.

Показывала твои первые фотографии. На них ты – двухнедельный. Маленький сфинкс…

Мило щебеча, Алёна спросила, не собираюсь ли я отдать тебя в круглосуточные ясли.

– Надеюсь, ты шутишь? – я не могла поверить, что она говорит это всерьёз.

– Почему шучу? Ольга отдала своего Илюшку в два месяца, и он очень быстро привык. Уже не плачет. Он знает свою воспитательницу, свою кроватку…

– …свою казённую кроватку? Узнаёт воспитательницу и не узнаёт родную мать? Ты бы ещё предложила отдать Антона в детский дом!

– Ты что, обиделась? – удивилась Алёна. – Я ведь тебе добра желаю. Нельзя же замкнуться в четырёх стенах и зациклиться на ребёнке. Конечно, он у тебя прелесть, но тебе нужно устраивать и свою личную жизнь.

– Моя личная жизнь уже устроена, – сказала я резко.

– Девочки, не ссорьтесь, – примирительно заурчал в рыжую бороду Лёвка. – Моя жена права: это ты сейчас кайфуешь, а через полгода не будешь знать, куда тебе бежать от этих пелёнок-распашонок…

– Вы-то почём знаете? – спросила я. Смотрела на них и не понимала, что делают в моём доме эти, ставшие вдруг чужими, люди, почему я сижу с ними за столом и угощаю их чаем с бабушкиным вареньем…

– Кто ж этого не знает?… – пожал Лёвка плечами. – Между прочим, вишнёвое варенье – моё любимое. Да ещё с косточками!

– Прелесть! – поддержала его Алёна. – Меня от него за уши не оттянешь!

У моих приятелей детей нет. Не по воле судьбы, а по их собственной воле: они так решили. Я смотрела на них и удивлялась сама себе: о чём я могла прежде говорить с ними? Ну, да: о выставках, о книгах… О Мандельштаме, о Гумилёве… Лёвка мог говорить об этом часами… Еле дождалась, пока мои бывшие

друзья ушли.

Хочется разговоров о главном. Хочется неслучайных лиц у твоей кроватки. Хочется настоящих встреч, настоящего общения.

«Но нельзя же быть такой максималисткой, – говорит мама. – Так ты совсем останешься одна…»

«Почему одна?…» – недоумеваю я, склоняясь над твоей кроваткой…

* * *

Апрель. Месяц третий.

Разговариваешь уже вовсю! «А-ы-го-оу-ии-ао-ау…» С удовольствием, смакуя, пробуя разные интонации и выражения. Такой говорун! Когда подхожу к тебе, весь пыл твоей загадочной речи устремляется ко мне.

О, как тебе не терпится выразить невыразимое! «А-ао-ау-ае…» Словно язык иной цивилизации, которая посылает мне свои таинственные сигналы: «Ау-оа…» Принять, понять, научиться твоему языку, научить тебя своему…

Никто мне не подскажет и не научит. Подскажут, в какое время дня лучше гулять, какими соками поить. Но кто мне поможет разгадать язык твоих улыбок и жестов, расшифровать язык твоего плача, кто мне поможет расшифровать твои бесконечные, певучие, загадочные «ае-ое-гоу-аа…»?

Я учусь. Учусь тебя понимать. Сегодня. Сейчас. Тебя, маленького. Тебя, двухмесячного. Твоё «ау-ао…» Я не пойму тебя завтра, если не пойму сегодня.

Чтобы потом, когда ты будешь взрослым, постучать когда-нибудь среди ночи в твоё окно: «Я пришла, потому что почувствовала: тебе плохо…»

* * *

Наша-с-тобой жизнь. От часа к часу всё удивительнее, всё радостнее, всё полнее. Сотканная из множества чудесных мелочей, больших и маленьких событий, важнее которых сейчас для меня ничего нет. Впервые самостоятельно перевернулся на

бочок. Первые сантиметры, которые ты прополз с кряхтением и визгом. В этот день в Москве расцвела мать-и-мачеха…

Неделю болел, с температурой и покашливанием. Очень переволновалась за тебя. Вдруг почувствовала страшную усталость. Но ничего… Скоро лето. Должно же оно когда-нибудь придти!

За болезнь очень повзрослел. Ночью, когда пеленаю тебя, просыпаешься и улыбаешься мне. И до чего ж ты поддерживаешь меня своей улыбкой!

Пустышку не любишь. Очень смешно плюёшься ею, точно выстреливаешь.

А когда сосёшь, то держишь в уголке рта, как папироску.

Докармливаю из бутылочки. Ловишь её руками, как бабочку!

Вырастаешь из своих первых распашонок… Всё так стремительно, даже грустно немного. Неужели из дома детства ты вырастешь так же быстро, как из своих первых распашонок?…

Уже шестьдесят три сантиметра! Подрос со дня рождения на десять сантиметров! Длинные ножки. Ловкие, как у обезьянки. Когда целую тебя в пятку, – хватаешь меня пальцами ноги за губы. Смешно ужасно.

Приучаю чувствовать цвет: для купания всегда беру пелёнки и распашонки одного цвета. Бывает купание голубое и купание розовое. Кроватку тоже убираю пелёнками одного цвета.

Спать на третьем месяце стал совсем по-другому: уже не зарываешься в пелёнки, как в листву, спишь, разбросав ручки в стороны. И одеяло скидываешь. Но сон твой по-прежнему хрупок и прозрачен: просыпаешься от скрипа паркета, от вскрика птицы за окном…

Прежде, чем научиться спать, научился кричать. Тоже хорошее дело; чувствую, как крепнут твои лёгкие и голосовые связки.

Купаться обожаешь! Вода – твоя стихия. Разлучённый с водой, рыдаешь и кричишь: хочешь обратно. Даже любимая погремушка, три зелёных колокольчика, не могут тебя утешить: ты её просто не слышишь, так окреп твой голосок.

И тогда бабушка, помогающая мне одеть тебя после купания, однажды запела: «Я ковал тебя подковами железными…» Почему именно это? И сама не знает. Запела то, что первым пришло на память. И вдруг – крик прекратился и фонтаны слез будто кто выключил. Ты слушал, как завороженный…

Через несколько дней мне пришлось выучить слова этой песенки. Никакая другая не действовала на тебя так магически, а перепробовано их было немало. Даже ночью. Стоит тебе заплакать – я тут же начинаю напевать: «Я ковал тебя подковами

железными…» И ты мгновенно затихаешь – и расцветаешь улыбкой!

Заметила, что, когда пою тебе «Старого извозчика», ты начинаешь названивать в такт погремушкой. Чувствуешь ритм!

Сшила тебе из тёплой нежно-зелёной фланели ночную рубашку, спальный мешок с рукавами. Первая ночная рубашка – тоже событие! Ты в ней – как Пьеро. Рукава длинные-предлинные (чтоб не играл ночью пальчиками), а у горла собрана на ленту, получилось что-то вроде жабо. Милый мой Пьеро, Пьерёночек…

Когда надеваю пинетки или ползунки, уже подаёшь ножку, сначала одну, потом другую. Шустрик глазастый.

Апрелю конец. Ветер, холодно. Мучительная весна в этом году. Хорошо хоть снегопады кончились.

Опять покашливаешь. Хворушка. Хворушка любимая. Урчалка. Взял соску – и урчит. Доволен.

Уже тянешься рукой к игрушкам. Любишь синюю рыбу, жёлтого лягушонка и красного медведя.

У моего ёжика на макушке вырос ёжик!

Чихнул. Опять… Вот горе-то. Уже месяц покашливает. Врач ничего не находит. «В легких хрипов нет», – уже привычная фраза.

Лежит, пузыри пускает, мурзилка. Очень у меня за него душа не спокойна.

Пошёл дождь, какой-то белый, крупный, похож на снег… Холодно, как осенью. Грустно.

Конечно, болеют все дети. Но разве от этого легче, когда болен мой единственный?

Три месяца. Четверть года прожили. Опять повалил жуткий снег – 28 апреля! Страшное ненастье. Прямо конец света. Тебе назначили десять уколов пенициллина. Кашляешь с каким-то металлическим свистом. Только что сделали первый укол.

Ну, вот и последний день апреля. Обещали снег.

Уколы переносишь стоически: крякнешь, всплакнёшь немножко и тут же улыбаешься, подбадриваешь меня своей милой беззубенькой улыбкой. Ты повзрослел за эти несколько дней четвёртого месяца. Неужели уже четвёртого?…

* * *

За ночь пелёнки и ползунки на лоджии прихватывает морозом, я вношу их, смешно-негнущиеся, пахнущие звёздным холодком, припорошенные искристым инеем… Вдыхаю

морозный, свежий запах… Даже после того, как одежки отогреются в домашнем тепле и станут мягкими и покладистыми, – запах звёздного морозца остаётся в них, он веселит нас и придаёт нам – из ночи в ночь недосыпающим – бодрости и силы.

Запах звёздных глубин, из которых ты пришёл ко мне…

Твои глаза… Не глаза – а глазищи, тёмно-золотистые, опушённые чёрными густыми ресницами. Целая вселенная глаз… Живые, лукавые, внимательные, внимающие – то недоумённо-вопрошающие, то ликующие… Никто ещё не слушал меня с таким захватывающим вниманием. Ты весь обращаешься в слух, лишь только я заговорю с тобой, весь – до крошечного мизинца на ноге, застывшей на полпути к полураскрытому удивлённому рту… Ты ловишь каждое моё слово, ты будто вчитываешься в движения моих губ, моих мыслей…

Кто сказал, что первые месяцы дитя только ест да спит? Кто это сказал? Кому пришла в голову эта странная мысль? Что первые месяцы – лишь преддверие жизни. А может, это и есть самая настоящая жизнь?… Ничем не замутнённая. Чистая, как снег. Ясная, как новолуние. Может, это и есть… Время созерцания и постижения. Это и есть.

Ты каждую минуту – другой: новый, незнакомый. «Торопись, не отставай!» – словно бы говоришь ты мне своими улыбками, своими машущими руками, точно крылышками. «Не отставай!» – слышится мне в твоих загадочных «ау-ао-ии-аэ…»

Гуляя с тобой по комнате, подношу тебя к окну. За окном – снег…

Он белый и косматый, он приникает к самому стеклу, но ты не пугайся.

Он добрый. Добрый белый снег. Он уже апрельский, уже весенний. Хочешь познакомиться? Я распахиваю форточку – и снег влетает в дом, белый, тёплый, пушистый…

Смотрю вместе с тобой в окно – и это уже не просто окно моего дома. Это – окно твоего детства… Острый запах снега вливается в открытую форточку. Это – пахнет снег твоего детства…

И в этой белой кутерьме мне видятся одуванчики твоей первой весны, твоего первого лета…

Глава 4
Когда я вспоминаю твоё первое лето…

Когда я вспоминаю твоё первое лето, я будто вдыхаю острый запах частых гроз и ливней. Слышу гудки теплоходов, ползущих в тумане по каналу. Вижу низкое, полыхающее оранжевыми молниями, небо. Коляска на лоджии ходит ходуном. Тебя укачивают, баюкают дождь и ветер…

Когда я вспоминаю твоё первое лето, я вспоминаю белый яблоневый сад во дворе твоей будущей школы. Ты спишь под цветущей яблоней, сыплющей на тебя лепестками… Прохладные лепестки падают на одеяло, касаются твоих щёк. Чуть-чуть подрагивают длинные, на полщеки, тёмные ресницы. Ты спишь, а белая яблоня осыпает тебя лепестками…

Когда я вспоминаю твоё первое лето, я вспоминаю первую, увиденную тобой бабочку. Она села тебе на грудь – на зелёные, в жёлтых цветах, ползунки, и вы оба замерли – два мира, две вселенные, взглянувшие в глаза друг другу…

А ещё я вспоминаю твою любимую лиственницу. Каждое утро мы приезжали к ней – под её пушистые, низко склонившиеся ветви. Она окутывает тебя легкой, нежной тенью… Она склоняется над тобой мягкими, пахучими ветвями… Ты хватаешься за шелковистую хвою, притягиваешь ветку к самому лицу, к глазам, изумляясь, восторгаясь этим чудом. Щиплешь мягкие, нежные иглы, осыпаешь всего себя, пробуешь их на вкус… Смеешься и лопочешь…

Когда я вспоминаю твоё первое лето, я вспоминаю учебники, валяющиеся на траве в жёлтых одуванчиках… У меня – сессия. Но я не могу оторвать взгляда от твоего лица, боюсь пропустить малейшее его движение. Ни один учебник не расскажет мне больше, чем твоя улыбка, твой взгляд. Колышутся над тобой мохнатые ветви, проносятся в стремительном полете стрекозы, перекликаются звонкими летними голосами птицы. Ты весь – внимание. Удивлением, радостью, восторгом откликаешься ты на колыхание солнечных пятен и теней, на звуки и запахи твоего первого лета, держащего тебя в своих тёплых ладонях…

Вспоминаю и наши первые разлуки… Я уезжаю на экзамены. За три-четыре часа истоскуюсь так, что на обратном пути от метро бегу бегом. Бабушка, остающаяся с тобой, говорит, что ты тоже скучаешь по мне: без конца поглядываешь на дверь. Скорее, скорее увидеть тебя! Вдохнуть твой чудесный молочный, цветочный аромат, уткнуть лицо в твои ласковые ладошки…

А ту – нашу первую с тобой – сессию я всю сдала на отлично.

…Конечно, я помню и серую надувную лошадку в розовый горошек. В шесть месяцев это одна из твоих любимых игрушек. Больше всего тебе нравится, когда я просовываю голову лошадки между деревянных прутьев манежа, лошадка кланяется тебе и говорит «Ку-ку!» В ответ – буря восторга: визг, радостные крики, смех, дрыганье руками и ногами, кувыркание со спины на живот и с живота на спину…

Но однажды… Однажды я оплошала. До сих пор ты был уверен, что кукует лошадка. И в этот раз она, как обычно, просунула к тебе свою голову в розовый горошек, поклонилась, но в тот момент, когда она произносила свое «ку-ку», ты неожиданно перевёл взгляд на меня. И… увидел, что кукую я. А вовсе не лошадка. До сих пор помню твой взгляд, полный недоумения и разочарования. И вдруг… нет, не слезы. Ты заливисто засмеялся, открыв два беленьких зуба на нижней розовой десне. Ты смеялся надо мной. Над моим неумелым розыгрышем. И над собой! Над тем, что так долго позволял себя разыгрывать.

Но ты не утратил интереса к этой игре, даже напротив! Теперь-то она и стала в полном смысле слова *игрой*. Теперь ты не просто зритель, но и участник её. Игра заключается в том, что я стараюсь как можно незаметнее сказать свое «ку-ку», а ты стараешься подловить меня. И делаешь это для своих неполных семи месяцев довольно хитро: в тот момент, когда должно прозвучать «ку-ку», ты быстро зажимаешь лошадке рот – и лукаво-выжидательно смотришь на меня: раздастся ли в этой ситуации «ку-ку»? И, если я, «не заметив» твоей хитрости, всё же прокукую, – ликованию твоему нет предела…

Когда я вспоминаю твоё первое лето, я вспоминаю двух задумчивых стрекоз… Ты спишь, по румяному лицу пробегают мохнатые тени ветвей. Ты подрастаешь, а лето уже совсем пахнет осенью… Последние августовские дни: травы ещё высоки и пестреют цветами (в это время особенно много цветов!), листва тёмная, свежая от дождей – такое буйство жизни кругом!

И всё это источает щемящий запах неизбежного, скорого конца… С тех пор, как ты родился, в моём сердце настоящий бунт: ну, почему, почему всё обречено на смерть? Не могу постигнуть жестокую логику умирания, эту страшную тайну…

Небо над нами – синее и холодное, и солнце яркое и негреющее – как осенью. Ты спишь на ромашковой полянке. Две огромные стрекозы сели к тебе на одеяло и, глядя на них, даже не зная календарного числа, можно безошибочно сказать: осень. Такие они были задумчивые и никуда уже не стремились, одна зеленоватая, другая красненькая, думали свою августовскую думу. Думала её и я, и было мне грустно…

А ПОТОМ ПРИШЛА ТВОЯ ПЕРВАЯ ОСЕНЬ…

Потом пришла твоя первая осень, и нам подарили пластинку с лютневой музыкой.

Черный диск медленно вращается, отбрасывая на стены солнечные блики… Ты сидишь в манеже. Тебе восемь месяцев. Лютневая осень… Золото берез… Вращается чёрный, сверкающий диск, сыплется золотая листва… Тёмно-золотая глубина твоих глаз…

Ты смотришь на меня вопросительно, умоляюще, с недетской мукой, требующей немедленного разрешения. Ты ещё так мал, что не в силах понять и объяснить, что творится сейчас в твоей душе, откуда эта светлая и мучительная лавина чувств, ещё не испытанных тобой дотоле?… Ты просишь моей помощи, ждешь от меня ответа на свой невысказанный вопрос.

– Это – музыка, – говорю я тебе. – *Музыка*.

– Зы-зы? – переспрашиваешь ты, и я читаю в твоём лице облегчение, оттого, что ЭТО имеет название.

– Зы-зы! – просишь ты. – Зы-зы! – требуешь страстно, настойчиво, и только, когда я вновь ставлю иглу на диск, и комната наполняется золотым звучанием солнечной лютни, ты затихаешь и замираешь, вцепившись руками в деревянные прутья манежа. Вращается пластинка, падает золотая листва, комната залита ярким октябрьским солнцем… Темно-золотая глубина твоих глаз… ты смотришь, не мигая, куда-то мимо меня – как смотрел в первые недели своей земной жизни…

– Зы-зы! – требуешь ты, как только музыка замолкает.

– Зы-зы! – просишь, едва проснувшись, по утрам.

– Зы-зы! – звенит твой голосок с утра до вечера…

Первая любовь. Первое увлечение. Первая страсть.

…И сейчас, спустя девять лет с той, первой твоей – лютневой – осени, старый уже, потрескивающий диск – твой любимый.

Теперь – его звуки возвращают тебя в пору твоего раннего детства. Но куда они возвращали, куда звали тебя, когда было тебе восемь месяцев от роду? На это никто и никогда не даст мне ответа…

В доме появились часы с кукушкой. Кукушка – твоя первая подружка. Каждые полчаса она выскакивает из своего домика: «Ку-ку!»

Ты откликаешься радостным визгом, звонким, захлебывающимся от восторга: «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!…» Ты скачешь у меня на руках, ты готов выпрыгнуть, готов улететь, машешь, машешь руками-крылышками…

Твой звонкий и властный голос, восторг и изумление распахнутых глаз, любопытные, нетерпеливые пальчики, которым всё нужно пощупать, потрогать, восемь белоснежных молочных зубов (восемь месяцев – восемь зубов!), тёплый каштановый вихор на макушке, чудесный мир твоих улыбок – ласковых, лукавых, загадочных, приветливых и счастливых… Боже мой, как я жила прежде? Чем я жила, когда у меня не было моего чуда – этой беспредельной, тёплой, ароматной, светящейся вселенной?…

ЗИМА НАЧАЛАСЬ ВДРУГ…

Золото осени за ночь остекленело, покрылось серебром инея – и утром повалил снег, белый, пушистый… В октябре.

«Я помню этот снег!» – говоришь ты задумчиво и радостно-удивлённо в начале каждой новой зимы, когда первые снежные хлопья ложатся на землю. «Он падал… Такие огромные-огромные хлопья… И ты колясочку ещё застегнула. А коляска была голубая…»

– Неужели помнишь? – в который раз изумляюсь я. – Тебе ведь и десяти месяцев не было…

– Я помню! Помню этот снег!…

Твое первое лето вместило в себя две зимы. Ту, первую, метельную, которую ты не можешь помнить, и эту – с твоим первым воспоминанием…

Белые мохнатые хлопья за окном… Ты сидишь в кресле-качалке. В руках у тебя скрипка. Ты щиплешь пальчиками её струны, но они молчат, не отзываются… Когда-нибудь я расскажу тебе, сынок. О том, как всё неслучайно в жизни. И про зонт в заплатах расскажу, и про скрипку…

Падает за окнами снег твоей второй зимы… Ты сидишь в кресле со скрипкой в руках. Маленькая скрипка больше тебя

ростом. У неё по-детски круглые щеки, она похожа на тебя. Или ты на неё?… Ты трогаешь струны, которые не отзываются… И про ту осень у моря расскажу. Про цирк на берегу моря. И про Клоуна… Это был удивительный Клоун. Когда он выходил на манеж, хотелось смеяться и плакать одновременно, а в душе распускалась огромная грустная радость…

Падает за окнами снег твоей второй зимы, твоего первого лета…

Ты спишь на лоджии. На голубой верх коляски метель намела сугроб, ветер укачивает, убаюкивает тебя… Спи, малыш, спи, розовощекий эскимосик. А мы, взрослые, пока нарядим для тебя ёлку. Твою первую ёлку. Прошлогодняя ёлка стояла до середины января, но так и не дождалась тебя… И вот тебя вносят с мороза, с двумя красными яблоками на щеках, которые алеют из белой меховой опушки комбинезона. Ёлка встречает тебя всеми своими огнями, сверкающими шарами, переливающимся дождем…

«То тэто?…» – шепчешь ты заворожено.

– Ёлка, – улыбаются взрослые.

– Ёка?…

Тебя вынимают из комбинезона и усаживают на высокий стульчик у самой елки. Все отходят, чтобы не мешать тебе… Это зелёное, искрящееся чудо колет пальчик, и ты отдергиваешь руку, но через мгновение забываешь и опять трогаешь смоляные, пахучие веточки, тихо и блаженно шепча: «Ёка… Ё-ё-ка-а…»

Белый, белый снег сыплется за окном… Чудесная бабочка приникает к стеклу. Две стрекозы, красная и зелёная, задумчиво заглядывают мне в глаза. Золото листвы сыплется на чёрный диск пластинки… Белый яблоневый цвет устилает землю, когда я вспоминаю твоё первое лето…

Глава 5
Философская улица

С твоим приходом ко мне стало возвращаться моё детство. Я хорошо помню день и час, с которого началось его возвращение.

…Ты в манеже, тебе восемь месяцев. За окнами – твоя первая осень… Крутится чёрный диск пластинки, отбрасывая на стены солнечные блики. Золотое звучание солнечной лютни. Ты смотришь, не мигая, куда-то мимо меня… О чём ты думаешь? Куда уводит тебя голос лютни?… Что слышится тебе в нём? Не могу оторвать взгляда от твоего застывшего в странном напряжении лица.

И тогда… другие звуки… другая музыка заговорила во мне.

…Комната моего детства на Философской улице. Бабушка сидит у стола, склонившись над работой. Чёрный репродуктор на стене. Я стою у кушетки, на ней мои игрушки, я играю… Мне около года, я ещё не умею говорить и только недавно научилась ходить. Стараюсь не отходить от кушетки, чтобы не потерять равновесие. Отчетливо помню это чувство: кушетка – моя опора. Помню, что расстояние до бабушки, сидящей от меня в двух шагах, казалось огромным и трудно преодолимым. Чёрный репродуктор на белой стене. Бабушка, склонившаяся над работой. Остальное – в тумане. Светлые, размытые очертания комнаты – будто недопроявленное фото… Мир вокруг меня словно бы лишен до поры до времени красок и запахов. И внутри у меня – светло и неопределённо. Я играю, мне тепло и спокойно, ничто не омрачает мою душу. Это даже ещё не счастье – просто тишина. Покой и тишина.

Музыка из репродуктора, она ворвалась в меня тёмным, сверкающим потоком… Забурлила пугающим водоворотом… Безмятежность и тишина, в которой я жила до этой минуты, рухнули под её напором, как игрушечный домик, который я выстроила из книг-раскладушек. Музыка наполнила меня до краев, она была больше, огромнее меня, она уже не вмещалась во мне…

И, уткнувшись лицом в кушетку, я залилась слезами…

Наверное, в тот миг я проснулась для жизни. С музыкой хлынули в меня краски и запахи… И мир вокруг меня словно бы проявился из тумана.

На всю жизнь запомнила я боль и счастье пробуждения…

* * *

Ты разминаешь в пальцах только что вынутый из новой коробки твердый, прохладный пластилин. От этого, песочно-жёлтого, плохо поддающегося тебе пластилинового бруска, постепенно согреваемого теплом твоих рук, исходит, лучится нежный, свежий запах… Запах, который будоражит мою память. Будоражит легко, ненавязчиво, как ветерок. Легкий запах керосина… Запах гудящих на кухне примусов и керогазов, запах Философской улицы пятидесятых годов, запах керосинной лавочки на базаре – на шумной Озёрке, к которой сбегала наша Философская…

Маленькая лавка, куда мы ходили с бабушкой. Мы шли по сбегающей с горы Философской, по её старому, в трещинах, тротуару. Бабушка несла в руке гремящий бидон… В лавке белёные стены, сверкающий керосиновыми разводами прилавок, земляной, пропитанный керосином, тёмный пол. Гремят жестяные бидоны, гремит большой ковш, блестит чёрный клеенчатый передник продавца. У продавца красное от холода лицо и красные замерзшие руки. Пахнет керосином и морозом. Вот в бидон вставлена воронка, и в неё льется тугая сверкающая струя остро пахнущего керосина… «Мы с тобой на кухне посидим. Сладко пахнет белый керосин…» В юности, найдя эти строки у любимого поэта, страшно обрадовалась. С той минуты я перестала стесняться своей нежной любви к этому не слишком благородному запаху. Он для меня приобрел поэтическую силу. «Мы с тобой на кухне посидим…»

Я беру твою руку и подношу к своему лицу. Твоя измазанная пластилином ладошка пахнет моим детством… Философской… бабушкой, несущей в руке бидон с керосином…

* * *

Запахи… Странную, непостижимую власть имеют они над нами. Каждый из них – словно условный знак, пароль, ключ… Моя память – как ключница, она носит на поясе целую связку этих магических ключей, и каждым из них можно отпереть дверь, ведущую…

Ты простыл. Я растираю твою худую, с выпирающими

лопатками спину скипидарной мазью, ты шутливо ворчишь, затыкаешь нос, тебя щекочет крепкий скипидарный запах. Странно, а мне в детстве нравилась его смолистая, лесная свежесть… Скипидар пахнет зимами на Философской… ангинами… тёплой печкой… чаем с малиной… бабушкиными ласковыми руками.

Запахи детства… Они притаились в укромных уголках моей сегодняшней жизни. То проносятся, как мотыльки, едва коснувшись души мимолетным, почти иллюзорным видением, – то пронзают остро и глубоко, бередят, подымают со дна памяти целые пласты, словно бы перепахивают её, подымая наверх то, что лежало недвижно годами. И вдруг *это* подступает к глазам, к самому сердцу. Врывается в сегодняшний день полноправным – чуть ли не главным! – действующим лицом.

Морозный запах керосинных лавочек. Тёплый, пышный запах маленькой булочной на Пушкинской, сюда мы ходили с бабушкой за хлебом. Острый, повергающий в тоску, запах первого снега. Счастливый запах первого мая: первое мая пахло петушками на палочках, бабушкиным рулетом с маком, сиренью, надувными шарами…

Запах цирка!… Уже тогда, в раннем детстве, я дышала им – как дышат судьбой…

А запахи нашей комнаты на Философской! Так волнующе не пахло ни в одном другом доме. Мерцающий, таинственный запах угля, которым бабушка топила печку. Пронзительный, проникающий в самую душу запах внесенного с мороза белья. Оно, негнущееся и искрящееся, отливало голубизной… Густой, душноватый от сладкой густоты запах вишневого варенья. Струящийся, прохладный запах новой материи, у неё совершенно особый запах – запах праздника. Бабушка шила, и в нашей комнатке всегда пахло новизной…

Запах дома, уюта, чистоты. Запах счастья. Запах детства на Философской…

* * *

Философская улица… Снег покрывает булыжную мостовую, приглушая шаги и цокот копыт. По нашей горбатой, извилистой улице ещё бегают лошадки – в том, послевоенном времени…

Странное название – Философская. Улиц с таким названием я

не встречала ни в одном другом городе. Улица моего детства. На ней я родилась.

На ней прожила первые пять лет жизни. Порой кажется – самые памятные годы, так остро я помню лица, голоса, звуки и запахи своего детства…

Мне всегда нравилось название нашей улицы. Мне казалось, что на Философской улице должны жить философы. Философы – это те, которые много думают о жизни. И я гордилась, что родилась на улице с таким мудрым названием.

И училась думать…

Меня не смущало, что на нашей улице, в нашем дворе жили пьяницы и спекулянты, что на чердаке нашего дома ночевали воры с Озерки, большого шумного базара, в который упиралась наша улица. Но за видимой стороной этой жизни, за её внешней пестротой и невнятицей жила другая реальность – *моя* Философская улица, которая учила меня нежности, состраданию и любви…

Живя в старом доме, не знавшем ремонта с «до войны», окружённая любовью мамы и бабушки, я не чувствовала холода. В крошечной комнате – четыре шага в ширину, семь в длину – не ощущала тесноты.

Я не чувствовала нашей тогдашней бедности. Хотя и слышала бабушкины вздохи, но смысл слов «бедность» и «нищета» мне был непонятен. Мне было тепло и уютно в моём детстве.

Был уютен дождь, льющийся прямо с потолка. Помню: вся комната заставлена ведрами, тазами, кастрюлями. В комнате – лишь один сухой угол, на кровати. Я сижу в этом сухом углу, мне года два или три. Суетится бабушка. Медный звон льющегося с потолка и ударяющего в ведра, тазы и кастрюли дождя. Здравствуй, дождь, вошедший в дом через крышу! Здравствуй, дождь, пришедший в гости так запросто, без церемоний…

Потом когда-нибудь бабушка скажет: «Тебе досталось трудное детство. Страшно вспомнить, как мы тогда жили…»

Мне досталось *моё* детство. Всё счастливо в детстве, если мы любим. Если любимы.

* * *

Далёкий южный город, где улицы засыпаны сладкой шелковицей… Где живут сны моего детства. Запахи моего детства. Улица моего детства. Маленький двор – как муравейник.

Похожий на нахохлившегося воробья, маленький двухэтажный дом с деревянной верандой, как во многих южных домах, и крутой деревянной лестницей, ведущей на второй этаж. Мы жили на втором этаже. Стоптанные, скрипучие ступени… На этой лестнице мы, ребятишки, играли. На этих ступенях по вечерам отдыхали женщины нашего дома.

Наш дом был напичкан жильцами, как подсолнух – семечками. Жили впритык друг к другу. В такой же каморке, как наша, этажом ниже жила семья из шести человек: мать, отец и четверо детей. Одному Богу известно, как они там укладывались на ночь… Так что мы ещё роскошествовали!

В тёплые времена года жизнь из комнатушек выплескивалась на веранду и во двор – как на огромную сцену. Здесь готовили пищу, здесь ели, здесь купали детей в обшарпанных цинковых корытах, здесь стирали, сливая мыльную воду прямо у колонки, и пенистые ручьи сбегали с небольшого бугра, на котором стоял дом, текли под гулкой аркой и уносились на булыжную мостовую в поисках водостока…

Во дворе вертелась маленькая беспородная Жанка, даже не собака – а существо, с грустными старческими глазами. Я её любила и назвала её именем свою куклу.

Летом, в жаркие ночи, на веранде и во дворе спали, вытаскивая из душных комнат раскладушки и железные кровати. В такие ночи Жанка чувствовала себя при деле, чутко охраняя сон двора. Впрочем, железные ворота под аркой на ночь запирались, и бояться было нечего…

Жизнь на виду у всех. Все про всех всё знали: кто кого поколотил, кому не хватило денег до получки, у кого завелся ухажер, у кого выпал молочный зуб… Похороны и поминки – всем двором. Свадьбы и праздники – всем двором.

Когда во дворе появился первый телевизор, его по вечерам выставляли на подоконник, поворачивая крошечный экран с огромной линзой на веранду – и веранда превращалась в маленький кинозал…

Мне кажется, что с тех пор, как меня, пятилетнюю, увезли из этого города, ничего там не изменилось. Там – то же время, что и тогда, в пору моего детства: послевоенное. Так же заходят во двор погорельцы, и сердобольные женщины нашего дома кормят их за большим деревянным столом во дворе и выносят им кто что может: кто старую фуфайку, кто платок, кто одежонку для ребятишек. И выслушивают горькие рассказы. Потом женщины и дети провожают погорельцев до ворот, и ещё долго во дворе слышатся сокрушенные вздохи.

Всё то же время, всё так же шумит старое ореховое дерево… Оно росло за глухой каменной оградой, в соседнем дворе, но его зелёные приветливые ветви шумели и над нашим двором. До сих пор помню вкус зелёных грецких орехов. Это дерево было постоянной причиной ожесточенных споров между жильцами нашего и соседнего дворов. А дерево, добродушно посмеиваясь в густые ветви, продолжало шуметь над обеими дворами, одаривая ребятишек по обе стороны глухой каменной ограды горькими, но такими нежными, такими лакомыми плодами…

* * *

С твоим приходом я стала заново обживать свое детство, все его слезы и радости…

Множество невидимых нитей протянулось от Философской, связав детство с моей сегодняшней жизнью и – дальше – с твоим детством.

Обживая вместе с тобой планету твоего детства, я как бы заново открываю и планету своего…

* * *

Когда я вспоминаю свое раннее детство, оно представляется мне долгим, почти бесконечным… Дольше, протяжённее, насыщеннее всех последующих лет отрочества и юности. Там, на Философской, я прожила долгую-долгую жизнь. Жизнь, полную радостей и горестей, надежд и разочарований… Странно, что эта огромная жизнь смогла вместиться в пять с небольшим лет. Это были самые долгие годы в моей жизни.

Чем дальше я отдаляюсь от своего детства во времени и пространстве, тем оно каким-то непостижимым образом всё более и более приближается ко мне. Порой мне кажется, что моё детство было не когда-то, не давно, а вчера. Или даже сегодня. Сегодня утром…

* * *

Планета моего детства: двор, Философская, Озёрка, пересекающий Философскую Пушкинский бульвар с красными звонкими трамваями, парк Чкалова, цирк… Даже не планета, а большой двор, большой балаган под куполом полинялого южного неба. Странное представление разворачивается, длится уже тридцать лет, представление без начала и конца, представление, где пьяные крики смешаны с клоунскими шутками, грохот циркового оркестрика то и дело заглушается стуком бабушкиной швейной машинки, запах лошадей и опилок смешан с запахом вишневого варенья, керосинные лавочки благоухают, как цветочные ларьки, странный выход погорельцев сменяется чинным проходом семейства из соседнего дома. В этом старом балагане, под этим полинялым куполом играет патефон, трещат поленья, звёздные искры сыплются в поддувало остывающей печки и, если прищурить глаза, искры начинают слепить, как цирковые софиты… В этом балагане катятся по тротуару сладкие, чёрные ягоды шелковицы, а посреди пыльной булыжной мостовой лежит красная роза… Я рванусь к ней, но бабушка удержит меня за руку. Промчится по мостовой, громыхая, грузовик, промелькнут прохожие – и роза исчезнет. Стоит мне лишь на миг обернуться к бабушке – и роза исчезнет. Сколько лет мне было тогда? Года четыре? или пять?… Не больше. Роза исчезнет, но воспоминание о ней будет тревожить меня всю жизнь. Порой, без всякого, казалось бы, повода, красная роза будет всплывать из глубин моей памяти. А с воспоминанием о ней будут оживать и мой детский порыв, моя мольба, обращенная к бабушке, и моё отчаянье, когда я увидела, что мостовая пуста…

* * *

Спустя много лет моя красная роза вернется ко мне.

Я буду идти по многолюдной московской улице, будет июль, вечер. Я буду идти по вечерней улице с тем, о ком мечтала уже тогда, на Философской, зимним вечером, когда за стеной играл патефон… О ком догадывалась, глядя на мелькающие за оградой летней танцплощадки пары, на их озаренные вечерними огнями, сияющие послевоенной молодостью лица, обращенные друг к другу… Уже тогда я догадывалась о *нём*. Без слов, без мыслей – только сердцем.

И теперь мы шли с ним по вечернему городу, крепко держась

за руки, потому что много, много лет жизнь разводила нас в разные стороны – но вот, наконец, мы вместе. Мы идём по вечернему городу, середина лета, солнце медленно опускается за высокие крыши… «Смотри, смотри, это она!» – «Кто?» – «Она! Моя роза!…»

Она лежала на тротуаре, полная до краёв красным пламенем лепестков. Словно была брошена нам под ноги…

* * *

Почти все события моего детства приобретают со временем символическое значение. Чем больше я отдаляюсь от них, тем большую роль играют они в моей жизни. Порой мне кажется, что вся моя жизнь была зашифрована в событиях детства…

* * *

Помню: я, маленькая, на руках у мамы. В руке у меня красный надувной шар. Шумит майская демонстрация… Веселые толпы на тротуарах. Во дворах играют патефоны… Мы с мамой в праздничной толпе на бульваре. И как символ радости, как сама радость и ликование – мой красный шар, огромный и невесомый!

И вдруг эта ликующая, невесомая радость с треском лопается, разлетается, повисает в руке жалкой тряпочкой…

Я захожусь в плаче… Горю моему нет предела. Гремят оркестры и патефоны, хохочет, поёт и пляшет толпа на бульваре, но для меня праздник кончился.

Плачущую и неутешную, уносит меня мама домой…

Надувной шар надолго остался для меня символом не радости, а печали.

Ещё не раз в жизни придётся пережить: в минуту самой чистой, самой безоблачной радости вдруг пронзит ощущение зыбкости, хрупкости, недолговечности – испытанное впервые в раннем детстве, в праздничной, ликующей толпе…

Пройдут годы, много лет, прежде чем я узнаю: радость не умирает.

…Но когда ты заплакал над растаявшей льдинкой, которую

принёс домой, чтобы поиграть ею, я вспомнила свой лопнувший шар, и мы погоревали вместе…

* * *

Двор, Философская, Озёрка, цирк…

Балаган звуков и запахов. Я почти не различаю слов. Да, они были; конечно, были. Иначе откуда бы я узнала, что нищие – это нищие, погорельцы – это погорельцы, откуда бы я узнала, что означает бабушкин номер на руке, синяя татуировка?…

В моём детстве шумно, как в балагане, шумно и ярко, там плачут и смеются, там грохочут трамваи и гремит цирковой оркестр, шумит базар, свистит детский паровоз в парке, стучит бабушкина швейная машинка, гудят примусы на кухне, бранится соседка, кричит во дворе пьяный дядька Сашка, ему вторит дядька Захар, поет и пляшет майская демонстрация, стрекочет бабушкина машинка, играет патефон…

Мир в детстве не казался огромным, тем более – бесконечным. Он был ограничен, замкнут, хотя и вмещал в себя очень много. Это был родной балаган, здесь награждали пинками и щелчками, а порой и увесистыми тумаками, здесь могли довести до слез, здесь впечатывали в стену кастрюли с борщом и кашей, – случались и такие репризы, и пьяный дядька Сашка, их постоянный автор и исполнитель, недоуменно вытаращив глаза, смотрел, как по беленькой стене их мазанки, прилепившейся к нашему дому, как ласточкино гнездо, стекают красные, ещё горячие потоки пахучего борща, как лениво сползает бурая лава каши… А весь двор, в том числе и семейство дядьки Сашки, испуганно следит за этой, в общем-то, привычной уже для всех буффонадой с веранды – с верхней палубы нашего старого, утлого суденышка… Набушевавшись, дядька Сашка вваливался в дом и там затихал. Но не успевал двор перевести дыхание, как за воротами раздавались пьяные песни возвращающегося домой дядьки Захара…

* * *

Моя улица учила стыдиться благополучия.

Помню нищих на Озерке, на углу возле аптеки, возле булочной, на вокзале… Сколько их было в городе моего детства, на улице моего детства. Покалеченных войной, бездомных, голодных, выброшенных жизнью за борт, сколько их было!…

Никогда не забыть своей муки и стыда, когда я опускала монетку в чей-то грязный картуз или заскорузлую руку. Было стыдно, что я не голодна и у меня есть дом, и меня любят, и я счастлива. Не было сил взглянуть в глаза тому, кого я не могла сделать счастливее своей копеечкой.

«Ах, если бы у меня было много денег! Если бы у меня было много денег…»

* * *

– Бабушка, расскажи сказку.

– Деточка, я не умею рассказывать сказки…

Стучит бабушкина машинка… Бабушкины пальцы ловко подкладывают струящуюся, шуршащую материю под прыгающую в непрерывном танце «лапку»… Моя бабушка – портниха. К ней ходят заказчицы. В нашей комнате всегда пахнет новой материей, праздничной свежестью… Мелькает бабушкина рука с иглой – и моё скромное чёрное платьице, перешитое из купленного на Озерке мужского пиджака, превращается в маленькое чудо: под бабушкиной иглой, под бабушкиными руками на нём распускаются, точно живые, зелёные дубовые листочки, а под каждым листочком – по паре коричневых желудей… Вот бабушка собрала в охапку груду лоскутков, обрезков, бросила ворохом у своих ног… мелькают спицы в бабушкиных руках – и из разноцветного вороха обрезков рождается пестренький тёплый половик, который сделает нашу комнату такой нарядной и весёлой, на котором будет так уютно сидеть и играть. Бабушкины руки надраивают до блеска кастрюли и сковороды… Бабушкины руки настирывают до голубизны старенькие простыни… Бабушкины руки месят пушистое, пышное тесто, чтобы сотворить из него самые вкусные на свете лакомства: ну, например, маленькие вареники с вишневым вареньем, обсыпанные сухарями! Или простые лепешки, которые бабушка пекла, когда в доме не было хлеба. Эти лепешки и до сих пор кажутся мне вкуснее самых изысканных пирожных… Чего не умели бабушкины руки? Бабушкины руки творили вокруг меня красоту, они делали

невидимым, незаметным нищенское убранство нашей комнаты. Первое, что восклицал каждый входящий в нашу комнату, было: «Как у вас уютно!» Удивительный запах чистоты – аромат чистоты! – жил в нашем жилище.

В доме на Философской, в крошечной комнате, где с потолка порой лил дождь, где единственным украшением были пестрый половик на полу да голубая, в синих цветах, трофейная скатерть, привезенная бабушкой из Германии, в комнате, где всегда пахло чистотой, где с утра до ночи стучала бабушкина машинка, где играл на стене чёрный репродуктор, а лампу под потолком прикрывала пожелтевшая газета, в этой комнате я впервые узнала, что такое красота.

Милая бабушка, слышишь ли ты меня? Я хорошо усвоила твои уроки, которые ты преподавала мне, сама о том не догадываясь. Уроки Философской улицы.

Стучит бабушкина машинка… Эта россельмашевская машинка была неотъемлемой частью комнаты на Философской, составной частью красоты на Философской: удивительно нарядная, чёрная, с ярким, ало-золотым орнаментом. Тогда, в начале пятидесятых, она была настоящей красавицей. Больше всего я любила смотреть, как шьет бабушка. Я пристраивалась у стола, а то и на столе. Сколько лет мне было тогда? Два, три года?… Помню запах машинного масла, которое бабушка любовно закапывала во все дырочки машинки, помню окошко во внутренний мир механизма, прикрытое круглой блестящей бляшкой. Я любила, отодвинув эту бляшку, смотреть в окошко, пока бабушка крутит машинку. Это было захватывающее зрелище! Машинка жила, двигалась, дышала… У меня были свои маленькие, но почетные обязанности: вдевать нитку в иглу и разыскивать оброненные бабушкой иголки. Я ползала на коленках по полу, вооружившись ножницами, – и, найдя, торжественно вручала бабушке ножницы с прилипшей к ним иголкой… Иногда я забиралась под стол и сидела там на перекладине. Надо мной гулко стучала машинка – словно поезд по мосту… Не помню уже, о чём я думала, куда уходила мыслями, сидя в полумраке, отгороженная от комнаты и ото всего мира длинной скатертью, голубой, в синих цветах… Хорошо помню, что было мне там сказочно уютно и таинственно…

Стучит бабушкина машинка… Любимая музыка моего детства. Порой бабушка откладывает работу и берет меня на колени. Мы сидим, обнявшись, говорим друг другу ласковые слова, смеемся. У бабушки такие тёплые руки. А волосы мягкие и пушистые, они вьются красивыми тёмно-русыми завитками на шее и на висках. А глаза у бабушки синие. Бабушка совсем ещё не

старая. Порой она говорит, чтобы подтрунить надо мной: «Когда-нибудь и я буду старенькой, буду ходить с палочкой». Я не выношу этой шутки и тут же начинаю реветь. «Ты никогда не будешь старенькой!»

А сейчас мы сидим, обнявшись, и бабушка шутя тянет меня за нос. «Чтоб не был курносым, – говорит она. – У нас в роду не было курносых».

И мы смеемся…

– Но ведь все бабушки умеют рассказывать сказки! – убежденно говорю я.

– И я когда-то умела… да разучилась, – говорит бабушка.

Я догадываюсь, почему моя бабушка разучилась рассказывать сказки.

Я знаю, что значит синяя татуировка на её левой руке, номер: 65242.

Освенцимский номер на руке моей бабушки. Она ни о чём не рассказывает мне. Но к ней ходят заказчицы. И редко кто не спросит: «Что это у вас на руке, Дарья Лаврентьевна?» Я ещё так мала, что меня не высылают из комнаты, и взрослым невдомек, что я, играя своей куклой, слышу и понимаю, о чём рассказывает бабушка. Понимаю смысл слов «оккупация», «подполье», «гестапо», «концлагерь»…

Я знаю, что моего деда расстреляли фашисты, а Лидуся (моя мама) видела это через щель в заборе. Моя мама тоже была подпольщицей, связной, и ходила в лес к партизанам. Дважды она переходила линию фронта…

И было ей всего четырнадцать лет. Всё это трудно себе представить, глядя на мою совсем не военную, такую нежную и красивую маму… Мне нравится смотреть, как мама чертит свои чертежи острыми-острыми карандашами… Моя мама учится в институте, она будет инженером. А по вечерам она ходит на вокзал разгружать вагоны, или чертит чертежи, чтобы хоть немного заработать, потому что бабушкина машинка не может нас прокормить.

Иногда в нашей комнатке становится особенно празднично: это приходят мамины друзья, студенты, и они вместе готовятся к экзаменам, а бабушка старается накормить их чем-нибудь вкусненьким. Мне в эти вечера разрешается шалить сколько хочу. Любимая забава: выскользнуть потихоньку из комнаты на кухню, к вешалке, и нашить гостям на пальто где попало разноцветные пуговицы…

А ещё к нам приходят бабушкины подруги. Они называют бабушку Дорочкой, Дорусей, «лагерной мамой». Я их всех люблю, они для меня – как наша семья, особенно маленькая кругленькая

Маруся и Дора Чёрная.

Это я прозвала Дору бабушкой Чёрной за её прекрасные чёрные волосы, подымающиеся высокой волной надо лбом. И у Маруси, и у Доры Чёрной, и у других – такие же синие освенцимовские номера на руке… Их дружба была их единственным богатством, была их радостью и опорой до последних дней жизни…

* * *

Стучит бабушкина машинка… Я сижу на столе и смотрю в окно. Даже не окно, а окошко. За ним – чужой двор, увесистые замки на сараях, пес, днём и ночью гремящий цепью… Балконы, увитые виноградом. Ухоженные нарядные газоны. Ухоженные нарядные дети. Чужая жизнь. Почти сказочная. Ни разу не вызвавшая зависть. Просто чужая. Даже не очень интересная. Непонятный, чуждый мир.

То, что из заоконного – чужого – мира принадлежит нашему – это крыша. Крыша сарая, приходящаяся под самое окно. Крыша, по которой гремит ночной дождь… Крыша, заваленная осенней шуршащей листвой… Крыша, запорошенная влажным, рыхлым снегом южной зимы…

На крыше живут горлицы. Бегают коты и гуляет ветер. Хочется к ним – на крышу. И никогда – в чужой двор.

Крыша притягивает и отражает солнце, которое никогда не заглядывает в наше окно. Но крыша, румянясь в лучах заката, дарит нам его отражённое сияние – и в комнате становится светло.

Стучит бабушкина машинка…

* * *

Почему так запомнилась эта история с луковицей? Почему и сейчас, тридцать лет спустя, воспоминание о ней вызывает боль? Хотя случались за эти годы истории и пострашнее, но та – была первой…

В тот день, единственный день весны на Философской, который сохранила моя память, солнечный, мокрый и шумный, в

нашем дворе, в маленьком палисаднике под кленами женщины дома разбивали грядки. Из-за этих-то грядок и стоял крик в нашем дворе. Жильцы первого этажа стремились захватить весь палисадник, жильцы второго яростно отстаивали свои права. В конце концов каждой семье досталось по крошечной грядке.

Ещё не остыв от спора и продолжая переругиваться, соседки сажали кто укроп, кто петрушку, кто щавель. Нашей семье грядки не досталось. Бабушка не умела кричать и ругаться.

Когда все разошлись, мы с бабушкой нашли в уголке палисадника свободный пятачок земли, площадью с мою ладонь. И бабушка, радуясь такой удаче, вынесла из дома луковицу. Большую, в золотистой, слегка растрепанной одежке, уже проросшую несколькими упругими, тёмно-зелёными перышками.

Мы с бабушкой торжественно опустили луковицу в мягкий, тёплый чернозем. Хорошенько полили, посмотрели на зелёные перышки, весело торчавшие из земли, и бабушка удовлетворенно сказала: «Теперь у нас будет свой зелёный лук».

Она ушла в дом, а я осталась играть во дворе. Вскоре, пробегая мимо свалки строительного мусора, я увидела на ней… нашу луковицу! Большую, золотистую, с зелёными перышками на макушке, выпачканную землей. Ту самую, которую мы только что посадили… Я схватила её и побежала к палисаднику. Обида за бабушку жгла меня. Я воткнула луковицу обратно в землю и уселась на ступени лестницы на страже. Но вскоре бабушка позвала меня обедать.

После обеда, выбежав во двор, я не нашла луковицы ни в палисаднике, ни на свалке… Неопознанный враг оказался сильнее. Впервые в жизни я ощутила такую беспомощность, такое полное бессилие. Я ходила по двору, заглядывая в лица детей и взрослых: кто? кто?! Но подружки заговаривали со мной, как ни в чем не бывало, а лица взрослых были обычными. Они были – как всегда! Ни на одном из них я не увидела печати злодейства, никого из обитателей двора не в силах была заподозрить. И тогда мне смутно почудилось, что здесь действует не человек, а какая-то сила, имени которой я не знала. Зло – неопознанное, безликое, безымянное – клубилось в воздухе весеннего двора, лишая его свежести, а окружающий мир – солнечной яркости: краски мутнели и гасли. Внутри у меня ныло, жгло, болело… Бедная бабушка, она так радовалась…

Никогда ещё, ни разу за свои неполные пять лет, я не испытывала такой боли. Я знала, как может болеть горло или уколотый иглой палец, но я не подозревала, что так жгуче может болеть внутри… До этой минуты я не знала, что может быть *так* больно. До этого дня я не знала, *как* я люблю бабушку.

«Что с тобой, деточка?» – испуганно спрашивает бабушка, когда я, вбежав дом, с рыданиями падаю ей на колени. И уже не я её, а она утешает меня, гладит по голове доброй рукой. «Не плачь, – говорит она. – Что ж поделаешь?…» И нет в её голосе ни гнева, ни осуждения, а только усталость и печаль…

* * *

«Что ж поделаешь?…» До сих пор слышится мне бабушкин вопрос, обращенный непонятно к кому. «Что ж поделаешь?…»

Наверное, тогда, после истории с луковицей, я осознала ещё одно горькое обстоятельство: наша семья – не такая, как все остальные семьи нашего двора. Как ни странно может показаться это теперь, но в послевоенном дворе только в нашей семье не было мужчины. У меня не было ни отца, ни деда, ни брата. Я переживала это как свою ущербность. Хотя что за радость от такого отца, как дядька Сашка или дядька Захар? Но у меня не было никакого. Поэтому (теперь я знала, что поэтому!) мне доставалось больше, чем кому бы то ни было во дворе, щелчков и затрещин. Поэтому соседки могли обидеть бабушку. Поэтому могли кричать на маму. Да, да, всё поэтому! За нас некому заступиться. Нас кто угодно может обидеть.

Там, на Философской, я впервые пережила досаду на то, что родилась девочкой. Эта досада, родившись от мук бессилия, сопровождала меня потом всё детство, отрочество и даже юность. Это она заставляла меня прыгать с балкона, стричься под мальчишку, крутить на качелях «мертвую петлю», предводительствовать в мальчишеских играх… Всеми силами, всеми доступными мне способами я искореняла в себе женское, такое ненавистное мне, такое унижающее меня. Я воспитывала в себе мужчину.

Пройдет много, очень много времени, прежде чем я скажу однажды: «Какое счастье, что я родилась женщиной». А тот, к кому будут обращены мои слова, скажет в ответ: «Не знаю, что бы я делал, если бы ты родилась мальчиком. Я всю жизнь был бы одинок».

* * *

Лучшие минуты моего детства.

Вечер. Зима. Темная кухня. Из-за одной двери – звуки патефона, из-за другой – стрекот бабушкиной машинки. Печка уже не обдаёт жаром, она дышит добрым, спокойным теплом. Она запасла тепла до утра.

Я буду ощущать её тепло ночью, просунув ноги сквозь прутья кровати и уперев их в тёплую, ласковую грубу – стену, к которой прижимается ласковым, тёплым боком печка.

А сейчас я сижу на низкой скамеечке и смотрю на огненные звёзды, которые сыплются в поддувало и медленно, нехотя гаснут в тёмной золе… Смотрю на гаснущие звёзды и мечтаю… А все мечты в детстве начинались с одного и того же – несбыточного, воистину сказочного «если бы»: «Если бы у меня был папа…»

* * *

Если бы у меня был папа…

На самом деле он был. Но жил далеко – в другом городе. Я его видела всего один раз…

Первое воспоминание об отце. Человек в белом, грустный, красивый, отрешенно смотрит в тёмное окно… Я дома одна. Уже давно он стоит молча у окна и ждёт маму. Высокий, красивый, очень похожий на сказочного принца. Не помню, что он сказал мне, когда вошёл в дом. Но, наверное, всё же что-то сказал, а иначе откуда я узнала, что этот незнакомый мужчина – мой отец? Не помню ни поцелуев, ни радостных объятий, без которых я не представляла себе встречу с отцом. Не помню, о чём он говорил со мной. Помню лишь долгое молчание. И его грустный, отрешенный взгляд, обращенный не на меня, так долго ждавшую его, а в вечернее окно, которое медленно наливалось летним сумраком, пока не стало вовсе чёрным, отразив в своей глубине человека в белом…

Он стоял, погружённый в свои взрослые невесёлые думы, а я – с ненасытной жадностью вбирала в себя его образ.

Он ушёл, так и не дождавшись ни мамы, ни бабушки. Ушёл, ничего не сказав мне на прощанье (или я не запомнила его слов?), но поселив в моём сердце страстную мечту о нём – таком прекрасном, и таком далёком…

Теперь я жила со своей тоской, которая для окружающих, даже самых близких, оставалась тайной. Со своей болью, о

которой никто не должен был догадаться. По утрам, просыпаясь, тихо-тихо я шептала: «Доброе утро, папочка!», а по вечерам, укладываясь в постель, так же шепотом желала ему доброй ночи. Страстная, всё разгорающаяся мечта о нём – таком прекрасном и таком далёком – утешала меня в моих детских горестях. Когда мальчишки во дворе колотили меня, я утешалась мыслью: «Если бы у меня был папа…» – никто не посмел бы тронуть меня. Когда я видела на улице мужчину, несущего на плечах маленькую девочку, обхватившую его за шею, – острая, разрывающая сердце зависть обжигала меня. «Если бы у меня был папа!…» Его образ веял надо мной, вокруг меня, согревая меня надеждой на то, что когда-нибудь так и будет: он войдет в наш двор – высокий, красивый, с тёмными, откинутыми с высокого лба волосами, в белом полотняном костюме, в белых, начищенных мелом туфлях, красивый, как принц, подхватит меня на руки, посадит к себе на плечи, и я крепко-крепко обхвачу его за шею…

С тех пор прошло тридцать лет. Но и сейчас, когда я вижу, как отцы несут на плечах маленьких дочерей, – острая, мучительная зависть обжигает мне сердце…

* * *

Булыжная мостовая, старые акации и шелковицы, парфюмерный магазинчик на углу Философской и Бобрового переулка, из него выпархивали легкие цветочные ароматы, которые тут же смешивались, поглощались густыми, стойкими запахами Озерки…

Сырой, темноватый Бобровый переулок, он соединял Философскую с улицей Шмидта. По Шмидта, с горы, неслись с грохотом и звоном красные трамваи… На улице Шмидта, рядом с входом в парк Чкалова, был цирк.

Старый, облупившийся кое-где желтоватый фасад. Яркие, зазывные афиши. Цирк!… Резкий, будоражащий запах опилок и лошадей… Этот запах уже тогда, в пору раннего детства, говорил мне так много! Это был запах-предвкушение, запах-предчувствие… Предчувствие удивительной, прекрасной, настоящей жизни. Жизни, полной риска и счастья!…

Замысловатое, магическое переплетение веревочных лестниц и канатов под куполом – оно завораживало… Сверкание трапеций, при взгляде на которые сладко познабливало. Волшебный марш Дунаевского… От этого марша, праздничного и

волнующе призывного, я чувствовала себя счастливой и несчастной одновременно. Всё во мне отзывалось на эти звуки, рвалось куда-то… Как если бы пела и звала сама судьба.

Больше всего завидовала даже не артистам, нет! Униформистам в тёмно-красных, с золотом, униформах, – вот кому я завидовала! Они могли каждый день смотреть представление, могли каждый день дышать этим пьянящим воздухом, слушать эту волшебную музыку… Они были обыкновенными людьми, как я. Я видела, как они суетятся, приносят, уносят, подают… В том, что они делали, для меня не было ничего сверхъестественного, но тем не менее они жили в этом сказочном, недоступном для меня мире. Многое бы я отдала за то, чтобы мне позволили хотя бы раз подмести красный ковер манежа…

Дома, на кухне, шумели примусы, бранилась соседка, стучала бабушкина машинка, – но сквозь эту привычную музыку будней мне явственно слышались призывные звуки марша Дунаевского…

…И сегодня, когда мне уже за тридцать, при первых же звуках этого неувядающего марша я вспоминаю о том, что жизнь прекрасна, и сейчас, как и в пору моего детства, она полна загадки и обещаний…

* * *

Помню: в глубинах нашего шкафа, куда я любила порой забираться, хранилась старинная, из чёрного потертого шёлка, сумочка. С металлическим, нежно щелкающим замочком… С этой сумочкой связано одно из самых волнующих воспоминаний детства.

Сумочка была для меня вместилищем прекрасного. Вместилищем чудесного, неповторимого запаха. Этот запах не был похож ни на какие другие знакомые мне запахи. Это был даже не запах, а аромат, тонкий и хрупкий. Сумочка была схожа с музыкальной шкатулкой, а аромат, заключенный в ней – с музыкальной фразой, вырывающейся на свободу при каждом щелчке металлического замочка… Аромат и был главной драгоценностью.

И другие чудесные вещи хранились в этой сумочке. Тонкая, длинная нитка бус из тёмно-вишневого бисера. Старинный медальон, матово поблескивающий, он тоже еле слышно щелкал

и открывался, внутри было крошечное вместилище для чего-то совсем маленького и тайного, оно почему-то пустовало и странно волновало меня… Ещё в сумочке была удивительная салфетка из разноцветного стекляруса, она была прохладная и нежная на ощупь, её можно было свернуть в трубочку и вновь развернуть, наслаждаясь яркими, жёлтыми, белыми и шоколадными, бусинами. Проводя пальцами по ласковой, переливчатой прохладе этой странной вещицы, я испытывала восторг и наслаждение. У меня всё пело внутри… Был в сумочке пакетик со светло-каштановыми завитками волос – моих, первых. И несколько рождественских открыток, даже не довоенных, а началовековых, неизвестно кому адресованных, неизвестно как попавших в сумочку и по непонятным причинам сберегаемых. От них тоже исходил всё тот же музыкальный аромат – далёкой, почти нереальной жизни…

На одной из открыток – хорошенький, в голубом платьице, ангел. Из-за спины его выглядывали два белоснежных крылышка. Ангел держал в руках букет тёмно-голубых незабудок. Ангел был как живой, он был сама приветливость и лукавство. Одна из незабудок, оторвавшись от подруг, медленно падала… падала вниз, и хорошенький ангел провожал её нежным, лукавым взглядом. Золотыми буквами на открытке был начертан стишок:

«Незабудку голубую
Ангел с неба уронил».

Ангел не удивлял меня и не вызывал никаких вопросов – как будто я с ним знакома накоротке. И стишок мне очень нравился. Однажды я прочла его в детском саду. Но воспитательница сказала, что ни ангелов, ни, тем более, бога нет. Я любила свою воспитательницу и поверила ей.

Иду из детсада домой и кричу на всю улицу: «Бога нет! Бога нет!» – и чувствую разверзающуюся пустоту над собой… Жутко, страшно, весело! Какое-то отчаянное веселье, почти буйство нападает на меня, и мама не знает, как меня успокоить.

…Но голубая незабудка, летящая к земле, и стишок запомнились на всю жизнь. Тихим вечером, глядя на чистое высокое небо, так и хочется прочесть – или промолчать:

Незабудку голубую
Ангел с неба уронил…

* * *

…Лунная ночь. Комната залита голубым светом. Этот яркий свет, добравшись до моей постели, разбудил меня. Рядом со мной в кровати лежит любимая кукла Жанна. Ее лицо – голубое от лунного света. Она смотрит широко раскрытыми глазами… И вдруг мне чудится, что это не кукла, это – маленькая девочка, холодная и голубая от холода… Я боюсь шевельнуться, боюсь прикоснуться к ней, потому что знаю: она мертва. Ужас заливает меня…

И опять, опять, в который раз наваливается на меня страшное видение, этот кошмар, который мучит меня по ночам… Дымящие трубы крематория… длинные бараки… окоченевшие трупы, сложенные штабелями прямо у бараков… лай собак… колючая проволока… Я вижу свою бабушку, стриженную наголо… Вижу еврейских детей, которых ведут в газовую камеру…

Вижу фабрику, на которой делают из человеческой кожи сумочки и перчатки… Крик, сдавивший мне горло, хочет вырваться из меня и не может…

Потом я вижу маму и бабушку, склонившихся над моей постелью. Их разбудил мой плач. Я ничего не могу объяснить, я только прошу убрать Жанну…

С той ночи я больше никогда не спала с куклой.

Много лет я мучительно боялась темноты. Стоило в комнате погасить лампу, как на меня тут же наваливались страшные «сказки» моего детства… колючая проволока… крики надзирательниц… лай овчарок…

Боязнь собак осталась на всю жизнь.

Потом, когда я буду уже взрослой, бабушка однажды спросит меня: «Почему ты никогда не спросишь, как это было?»

Я удивленно взгляну на неё:

– Но ведь я всё помню. Ещё с Философской…

– Ты была совсем маленькой, я никогда не рассказывала тебе.

– Ты рассказывала другим… *Я всё помню*.

* * *

Трещины в тротуаре, тёмные, пыльные…

Когда я впервые задумалась о смерти? О том, что впереди – разлука с теми, кого я люблю?… В тот день, когда услышала эту

страшную примету про трещины в тротуаре? Или раньше?…

Мне года четыре, может быть, пять. Кто-то из ребят во дворе сказал: «Если наступишь на трещину в тротуаре – умрет мама».

Улица наша старая, тротуары на ней все сплошь в трещинах… Ходить по этим тротуарам, таящим в себе то, о чём страшно подумать, и о чём невозможно сказать вслух, – настоящая мука. «Что ты скачешь? Иди спокойно», – говорит мама, принимая мои странные прыжки и замирания (внутри – ужас и обмирание!) за какую-то навязчивую игру. «Иди спокойно», – говорит мама, легко, безбоязненно наступая на тёмные извивы трещин… Но ведь у мамы тоже есть мама – моя бабушка! Эта мысль проносится в мозгу, как молния. Вцепившись в мамину руку, не даю ей сделать больше ни шагу. «Ну, что с тобой? Что случилось?» – «Ничего…» Мне страшно, тоскливо, тревожно, предчувствия неизбежного сжимают моё сердце, но я не могу сказать ей о том, чего так боюсь… Мне кажется: страшное слово, произнесенное вслух, имеет страшную, действенную силу. Нет, мама не должна ни о чём знать! Слабая надежда тешит меня: если она не узнает *об этом*, – *этого*, быть может, не случится?…

Ни мама, ни бабушка так и не узнали о моих детских страхах. Я мучилась одна. Я словно бы брала на себя их долю страхов и мучений, мучилась *за них*, освобождая их, как мне казалось, от страшных мыслей, и чувствовала от этого горькое удовлетворение.

Не помню, чтобы когда-нибудь в своем раннем детстве, хотя бы раз! – я заговорила с мамой или бабушкой о смерти и о трещинах в тротуаре…

Страх утраты, разлуки с теми, кого люблю, подтачивал изнутри все мои детские радости. В радости мне всегда слышался привкус печали. Так было в отрочестве и в юности. Так и теперь.

Любая твоя болезнь, даже легкая, пустячная, приводит меня в отчаянье, заставляет испытывать знакомую с детства щемящую тоску. Порой тоска застает меня врасплох – среди счастья, тепла и тишины…

Смотрю на твоё светлое, озаренное безмятежной радостью, лицо. Неужели и у тебя есть свои «трещины в тротуаре»?…

* * *

Детсад на прогулке. Старая тенистая улица. Нежная прохлада летнего утра. Шевелятся под ногами солнечные пятна…

Идем парами, пестрой вереницей. Идем мимо будки сапожника, дверь открыта, вкусно пахнет кожей, ваксой, новыми шнурками… Сапожник зарос седой щетиной, но глаза у него не старые. Вместо одной ноги у него грязная деревяшка. Во рту он держит новенькие гвоздики, он улыбается нам, не выпуская гвоздиков изо рта. Стук молотка, приколачивающего к башмаку новую подметку, далеко слышен на тихой, безлюдной улице.

Переходим мостовую, держа друг дружку за полы платьев и курточек. «Скорее, скорее!» Скользкий, залитый солнцем булыжник… И опять идем в густой тени старых деревьев. Тепло, ласково шевелятся под ногами солнечные пятна, кажется, они щекочут подошвы… Идем мимо железной решетки высокого забора. За забором – мальчики и девочки, стриженные наголо. Темные курточки, тёмные платья… Большой серый дом. Воспитательница объясняет, что здесь живут дети-сироты, у которых война отняла всех близких. Стриженые головы, тёмные платья… Там – за забором – другой мир, он даже пахнет по-другому, я слышу, до меня доносится его запах… Горький запах сиротства. Но я с ужасом ловлю себя на том, что завидую этим детям. У них всё самое страшное *уже позади*.

Старая улица. Железный забор. Тени под ногами… «Скорее, скорее!»

* * *

Всякая болезнь близких были для меня намеком и напоминанием. Помню, как я боялась выйти во двор, к детям, к солнцу, к играм, когда болела бабушка. Я боялась взглянуть в оживленные, беспечные лица детей, боялась поднять на них глаза. Мне казалось, что стоит мне появиться во дворе, и все сразу увидят, догадаются по моему лицу, что наш дом, нашу семью посетило *это*. Было ощущение, что на мне лежит тень от *него*, что-то вроде проказы, делающее моё лицо уродливым. Я была убеждена, что моя отчужденность от мира детских игр должна восприниматься окружающими, как уродство. Безмятежное веселье детей больно ранило меня, подчеркивая мою ущербность, мою неспособность быть такой, как они.

Чувствуя, что в этом моём состоянии (точнее – противостоянии радости жизни) повинна бабушкина болезнь, я в эти дни невольно отчуждалась и от бабушки. Я жалела её, но ещё больше – боялась; не находя в себе сил приласкать её,

чувствовала себя виноватой перед ней, и так запутывалась в противоречивых переживаниях, что желала только одного: чтобы это как можно скорее кончилось. Я согласна была даже умереть, только бы не слышать бабушкиных стонов, которые разрывали мне сердце, не слышать запаха лекарств, только бы избавиться от мучительного разлада в душе.

Вошедшее под нашу крышу *это*, дышащее холодом, пугающе-огромное и невместимое, но всё же странным образом уместившееся в крошечной комнатушке, лишало её привычного уюта, делало холодной и мрачной. Находиться в ней было зябко, тоскливо. В игрушки не игралось. Во двор, к детям, я выйти не могла, как бабушка меня ни уговаривала. Я садилась на корточки у стены, в уголке между столом и шкафом, и так, в тягостном оцепенении, могла просидеть очень долго. В тоскливом предчувствии, что вот-вот произойдет что-то ещё более страшное. Казалось, что болезнь, холод и неуют – только предвестники, только намеки и подготовка к тому, о чём и подумать было страшно…

К счастью, болезни уходили. С ними уходило из нашего дома невыразимое, леденящее *это*. В комнату возвращались родное тепло и уют, она вновь обретала свои привычные, милые сердцу звуки и запахи. Опять стучала бабушкина машинка, пахло свежестью, чистотой, новой материей: без работы бабушка не сидела ни дня…

* * *

Вспоминая о детстве на Философской улице как о долгой жизни, помня эту жизнь во множестве мельчайших подробностей, я совершенно не помню чередования времен года. Моя память не отделяет одно лето от другого, одну зиму от другой…

Когда я вспоминаю детство на Философской, я вспоминаю одну долгую зиму – и одно долгое лето. Один день весны. И один-единственный, короткий и обжигающий, как укол, миг осени…

* * *

…Снег ложился в конце ноября. Влажный, рыхлый снег

южной зимы.

Помню: я вышла утром на веранду и замерла, пронзенная его острым, щемящим запахом. Перила веранды, ступени деревянной обшарпанной лестницы, наш маленький дворик, шумный летом и притихший к зиме, – всё выглядело преображённым, светилось праздничной белизной… Но особенно хороши были клены. Два клена нашего двора. Их белые кроны, как два огромных пушистых шара, сияли, источая пронзительную свежесть, как раз на уровне веранды, на уровне моего лица. Их сияющая свежесть холодила щеки, проникала глубоко в легкие. Слегка кружилась голова, ныло сердце и почему-то хотелось плакать…

Помню: острый, щемящий запах снега. И вдруг – обжигающее чувство тоски и одиночества. Я перестала ощущать себя ребёнком. Неизвестно откуда дохнуло на меня дыханием старости. Смерти. Ощущением мимолетности, хрупкости всего, что окружает меня… В ту минуту я ощутила себя глубокой старухой. Я давно пережила и этот снег, и этот дом, и эти клены, и даже свою бабушку. Казалось, я живу на свете уже сотни лет, а все, кого я люблю, давно ушли, и уже никто не окликнет меня, не позовёт, не пожалеет…

Остро пахнущий сиротством снег… Я больше не могла выносить этой муки. Рыдая, вбежала я в дом, и упала на бабушкины колени. Бабушка, напуганная моими слезами, допытывалась, не обидел ли меня кто во дворе, но я не могла ничего объяснить ей, не могла признаться, что мне страшно и одиноко. Своим признанием я причинила бы ей боль, ведь она так любила меня…

Тогда, в утро первого снега, я нашла понятное нам обоим объяснение, я сказала: «По маме соскучилась». Сказав это, я тут же ощутила, что тоска моя обрела конкретный образ – и мне стало легче. Чувство детства вернулось ко мне. Мне опять было пять лет, я сидела у бабушки на коленях и плакала о том, что соскучилась по маме. Мама была далеко… От неё приходили письма из города Чкалова, где она работала после института. Там был и мой папа. И я писала в ответ неровными печатными каракулями, что очень скучаю и очень хочу в город Чкалов…

Бабушка, вытирая мне слезы, говорила о том, что зима пройдет быстро, а весной мы уедем к маме. С радостной, почти блаженной тоской я ощущала бабушкино тепло, спасительный покой её ласковых рук, уютное тепло нашей комнатушки, – и острота пережитого минуту назад на пустой, засыпанной снегом веранде, постепенно отпускала меня…

В утро первого снега я словно бы пережила разлуку со всеми, кого любила, разлуку с самой жизнью. Мне как будто было

показано, как это *будет*. И уже никогда потом я не забывала об этом.

Утро первого снега…

* * *

Бабушка приходит с мороза. Ее, всегда такие тёплые руки окоченели, покраснели от холода. Я тру её онемевшие пальцы, дышу на них, согреваю их своим дыханием…

Милая бабушка, как мне не хватает твоих рук, как бы мне хотелось прижаться к ним щекой, отогреть, как когда-то в детстве, своим дыханием! Милая моя бабушка… Где ты, слышишь ли ты меня? Хотя бы во сне тебя увидеть…

* * *

Что в раннем детстве было счастьем?…

Наша комната на Философской с её удивительным запахом тепла и чистоты. Воскресные утра, когда мама не спешила ни на работу, ни в институт, и я, проснувшись, перелезала через спинки наших кроватей, стоявших впритык друг к другу, в мамину постель, и мы лежали, обнявшись и болтая о всякой всячине, пока бабушка не звала нас к завтраку…

Звяканье рукомойников, гудение примусов, стрекот бабушкиной машинки. Музыка моего детства…

Утро поздней осени, когда бабушка вносила в кухню ведро с чёрным, мерцающим углем – и вскоре дом наполнялся живым, пахучим теплом… А вечером можно было, подставив к печке скамеечку, сидеть и смотреть на огненные звёзды…

Вкус и запах новогоднего праздника… бабушкиных пирогов… Сверкание стеклянных елочных бус. Застывшие, угловато-грациозные позы пластилиновых балерин, которых я лепила зимами на Философской, и ставила их на холодный подоконник к окну…

Искристое сверкание снега под фонарями, когда меня везли на санках из детсада домой по тёмной улице. Ласковое тепло маленькой муфточки, которую мне сшила бабушка…

Запах горячей картошки в мундирах. Я наклоняюсь над

чугунком, бабушка накрывает меня большим платком, и я оказываюсь в темноте наедине с горячим картофельным духом… я дышу им… он полезен моему больному горлу…

Морозный запах керосинной лавочки. Запах внесённого с мороза белья. Будоражащий запах цирка… И теперь, столько лет спустя, они воскрешают ощущения давнего счастья.

Запах и вкус летнего утра. Мы с бабушкой завтракаем на веранде, приставив две маленькие скамейки к табуретке, которая служит нам столом. Тихий, пустынный двор озарен солнцем, а на веранде тень и прохлада. Ярко-красные ломтики помидора перемешаны с словно бы посеребренными легкой изморосью ломтиками огурца. В миску льется золотистая струя пахучего масла… Хрустящий, весёлый вкус утра жизни.

Высокие, тёмные и густые деревья парка Чкалова. Сладкий запах петуний и левкоев. Мамино голубое крепдешиновое платье. Старенькая карусель с облезлыми, но такими родными лошадками, на которых никогда не наскучит кружиться… Мамино грустное и весёлое лицо, грустное и весёлое одновременно. Задорный свист детского паровозика, бегающего по зарослям старого парка… Танцевальная площадка, звуки духового оркестра, сумерки и духота летнего вечера, и сладкая, сладкая тоска, сжимающая сердце… Мама держит меня за руку, мы стоим в темноте и смотрим на мелькающие, озаренные светом фонарей пары…

Что ещё?… Я еду по тротуару на красном, пахнущем магазином, трехколесном велосипеде. Мне года три. Обгоняя меня, идут прохожие. Рядом, по мостовой, мчатся машины, гремят по рельсам трамваи, но я не спешу, мне спешить некуда. Я старательно, со вкусом нажимаю на новенькие педали, и мой велосипедик неторопливо катит свои сверкающие блестящими спицами колеса… Я горда и счастлива, я посматриваю свысока на этих больших, бегущих мимо людей. Кто-то задерживает шаг, оглядывается, я ловлю на себе приветливую улыбку и сдержанно улыбаюсь в ответ. Я чувствую себя королевой улицы, её главным действующим лицом, хотя улица об этом и не подозревает…

Алая, сахарная сердцевина огромного арбуза, которой меня угостили в гостях. Она искрилась, источая нежный, прохладный аромат… Хотелось вдыхать и вдыхать, наслаждаясь этим запахом – как самой жизнью…

Оранжевый крупный горошек на белых чашках… В чашке золотистый чай и моё смеющееся отражение… Завтрак в детском саду. В комнате легкий зеленоватый сумрак – от густой, тёмной зелени за окном. Низкий столик, покрытый светлой клеенкой.

Нас четверо за столом, две девочки и два мальчика. Мы катаем по столу ярко-жёлтые крутые яичные желтки. Оранжевый горошек на белых чашках, густая тёмная зелень за окном, весёлые жёлтые колобки… Чистый, ничем не замутненный вкус счастья. Беспричинного, и потому, наверное, полного и ясного.

Красная кирпичная ограда. Увитая плющом, залитая солнцем. Темные глубокие тени на летней земле. Мама и бабушка – по ту сторону ограды, я – по эту. Мамина рука, протягивающая сквозь холодные чугунные прутья ограды кулечек с клубникой. Красные, светящиеся на солнце ягоды… Дразнящий запах клубники. Холод чугунной решетки. Тепло красного кирпича. Мама и бабушка по ту сторону ограды. Они сейчас уйдут, но ощущение счастья останется. Кажется, бабушка плачет. Почему она плачет? Или это солнце наслезило ей глаза? Бабушка уходит в тень… Я перекладываю клубнику в кармашек, который висит у меня на груди на ленточке. Мне нужно идти. Я взмахиваю на прощанье рукой. И бегу, придерживая рукой кармашек, полный клубники. Оглядываюсь ещё раз. Темная зелень плюща на кирпично-красном. Густые тени. Слепящее солнце. Маминого лица мне не видно, и я не вижу, что оно залито слезами. Мамина рука машет мне сквозь чугунные прутья… Я бегу по горячей, залитой солнцем земле, мне четыре года, я не знаю, что этот уютный особняк в глубине парка, где мне так весело живется, называется детским туберкулезным санаторием, и я не понимаю, почему плачут мама и бабушка, когда такое чудесное лето, и жить так прекрасно…

* * *

Запахи детства…

Летним вечером хозяйки дома выносят во двор примусы и керогазы. Начинается великое таинство – варка варенья! На примусы и керогазы водружаются тазы, наполненные вишней…

Шумят очаги, вздымается над тазами розовая ароматная пена… Кипение – розовое вишневое цветенье набухающих, лопающихся, жарко взрывающихся, брызжущих, изливающихся тёмным соком ягод… Темно-алая кипящая лава… Огромный живой цветок пены над тазом. Вьются в нетерпеливом желании осы, осиным роем кружится детвора, в ожидании желанной – самой сладкой на свете! – ложки пенки…

Запах кипящего вишневого варенья – запах лета, самой спелой его сердцевины… Только бы дышать им, вдыхать полной

грудью, пропитываясь сладкой надеждой, уверенностью, что так будет всегда: лето, всё ещё живы, все молоды, никогда не умолкнут очаги в вечернем дворике, никогда не умолкнет шум орехового дерева у дома, никогда не погаснут улыбки на лицах, и никто и никогда не узнает в жизни огорчения большего, чем укус осы, вступившей в схватку за свою долю сладкой пенки…

* * *

…Живет в далёком южном городе, на старой Философской улице маленькая девочка, к ней я возвращаюсь всякий раз, когда не могу найти ответа на вопросы, которые мучат меня. Для неё этих вопросов ещё не существует. Но только она одна может мне помочь… Ты спросишь меня, как? Конечно, не советом, она ещё не так мудра. Она отвечает мне своим существованием, своей жизнью. Вспомнив о ней, я вспоминаю о главном, вспоминаю вкус истинной радости и истинной печали – и многое в моей нынешней жизни обретает свою настоящую цену и свои настоящие имена…

Глава 6
Весенний вечер под ясной звездой

Конечно, я что-то чувствовала ещё зимой. Костры, огоньки… А может, ещё раньше: музыка, стихи…

Конечно, это случилось не вдруг. А постепенно, исподволь. Всё к этому шло. Теперь я вижу: всё шло к этому, всё работало на это, готовило почву: и музыка, и стихи, и костры, и огоньки… И тишина, и одиночество. Благословенное одиночество, которое учило тебя сосредоточенности, учило вслушиваться в себя, в свой внутренний мир. Все эти звуки, знаки, намеки, мелодии… Они разбереживали, увлажняли, удобряли твою душу, засевали её чудесными семенами…

Душа восьмимесячного младенца, разбуженная музыкой.

Наверное, всё началось уже тогда. Хотя я могу только догадываться, только предполагать. Тот восьмимесячный мальчик, с тёмно-золотистыми глазами, огромными и тёмными от ужаса и восторга, распахнутыми с мучительным вопросом ко мне… Тот мальчик, ещё не умеющий рассказать о себе, – он навсегда останется для меня тайной.

А ты сегодняшний, философ и говорун? Чем пристальнее вглядываюсь я в тебя, тем непостижимее и загадочнее кажешься ты мне. И грустно от этого, и радостно. Ты – словно расширяющаяся вселенная… Всё больше звёзд и планет, всё больше манящих огней в её глубинах…

Да, я не могу сказать с точностью, когда всё это началось, я могу только предполагать. Но я точно знаю: всё, что происходило с тобой, с нами, – всё было не случайно, всё со смыслом. Нет и не может быть случайностей в жизни человека, которому от роду восемь месяцев, год, полтора, два… Каждый день для него равен году, а, может, и целой жизни?… Каждый день его заполнен открытиями, встречами и удивлениями, трудностями – и преодолениями, слезами и восторгами! Любая, еле слышимая мелодия, любое, вскользь оброненное слово, вы и не заметили, как сказали, вы и не расслышали этой мелодии (ветра, дождя, музыки, едва пробивающейся сквозь стену), вы и не увидели, какого цвета яблоко протянули ему, какого невероятно красного, сочного цвета! А он видит, он слышит, он впитывает, насыщается, он плачет по неведомым вам причинам, он смеется непонятно чему, он не может уснуть бог знает отчего, вроде здоров, а не спит, он видит неведомые для вас сны – он распускается у вас на глазах, но совершенно незаметно для вас! Как цветок на окне. Как

заря за окном. А он чувствует в себе это распускание, оно для него болезненно и сладко, и тревожно, и трудно, и волнующе… Но он никогда не расскажет вам об этом. Сколько раз на дню лицо его бледнеет от испуга и нерешительности, сколько раз заливается оно румянцем восторга и удивления! Сколько раз на дню он плачет, да так горько, так безутешно, словно он – самый несчастный, самый одинокий, самый непонятый на свете, и нет, и не может ему быть утешения… А через минуту – уже хохочет, заливается смехом, неудержимо, заразительно! Что уместилось для него в эти несколько минут? Мы никогда не узнаем…

Он тянет вас к яркому костру в тёмном зимнем дворе. Он смотрит в огонь, не отрываясь. А вам кажется, что только вам, взрослому, есть о чём вспомнить, глядя в звёздное, яркое пламя…

Он тянет вас к подъезду, он просит "включить огонёк". "Вкутыть агаёк!" – звучит каждый вечер на темнеющей улице… "Вкутыть агаёк!…"

Я помню твоё помешательство на кострах и огоньках. В ту зиму, когда тебе исполнилось два года. Я помню, как ты не мог жить без музыки. Это началось с восьмимесячного возраста, в ту осень нам подарили "Лютневую музыку", и я впервые поставила её на диск проигрывателя… Помню, помню, как ты слушал, как ты смотрел своими бездонными глазами, как напряжённо замирал при её звуках, как ты просил, требовал, умолял: "Зы-зы! Зы-зы!…" Шли месяцы, ты взрослел, учился ходить, говорить, но музыка оставалась твоей страстной любовью, твоей радостью, твоей неубывающей жаждой… Теперь-то я понимаю, что всё было неспроста!

А потом ты услышал стихи. И к твоей прежней страсти прибавилась новая. Тебя завораживало, околдовывало их звучание, волшебство рифм, чудесное многообразие ритмов. Ты стал рифмовать! Рифмовал неутомимо, вдохновенно. Нет, пока это были ещё не стихи, это была проба слова, проба его на вкус, на цвет, на пластику, на объем. Ты смаковал слова, как спелые, сочные яблоки, ты хрустел ими, ты ими жонглировал!…

И был вечер. Весенний вечер под ясной звездой. Сколько тебе было в тот вечер? Два года и три месяца; впрочем, нет, трех ещё не было. Твоя третья весна… Мы сидели на скамье в темнеющем дворе. Догорали, дымясь, костры прошлогодней листвы… Небо было чистым и синим. Первая звезда, маленькая и яркая, проступила в этой чистой синеве и сияла над нами. Мы сидели, обнявшись, на скамье и смотрели на звезду сквозь голые ветви апрельских тополей. Вечерний воздух обжигал щеки свежестью. Пахло влажной землей, дымом, весной, свежей стружкой. Где-то над нами, на балконе, раздавался весенний, весёлый стук

молотка…

Ты тихонько засмеялся. "Тук-тук! – молотук!" – сказал ты. И опять засмеялся, и добавил: "Ток-ток! – молоток!"

И хотя уже несколько месяцев ты с упоением рифмовал, но на этот раз произошло нечто большее… Я почувствовала необъяснимое волнение. Земля вдруг запахла сильнее, и звезда над нами засветила пронзительнее…

Будто приотворилась маленькая невидимая дверь – и я заглянула в тайну. В тайну детства, тайну слова, в тайну начала… Там было прохладно, просторно и звонко. Четыре коротенькие строчки, они пульсировали, как родничок, только что пробившийся из земли, задавая ритм всему вокруг:

"Тук-тук!" –
молотук!
"Ток-ток!" –
молоток!

Твое первое стихотворение. Оно навсегда сохранило для меня тот апрельский вечер, обжигающий лица свежестью, пахнущий влажной землей, стружками, дымом костров… И ясный весёлый дробный стук откуда-то сверху… И маленькую яркую звезду – над темнеющим двором, где на скамье под тополями, обнявшись и запрокинув головы к небу, сидим мы с тобой…

Глава 7
А кукушка там кукует…

Читать ты научился в два года. И вскоре…

Вскоре на обороте моих черновиков, на обеденных салфетках, на полях книжек, на обоях, на рулонах бумаги для заклейки окон – всюду стали появляться твои первые каракули. В два с половиной года всем игрушкам ты предпочел бумагу и шариковый карандаш.

Ты учился писать с непостижимым упорством. Маленькие пальчики с трудом удерживали карандаш, он то и дело выскальзывал, и тогда ты приспособился держать его, как скульптор держит резец – крепко зажав в кулаке.

Ты учился писать… Пристроившись за большим обеденным столом на кухне (этот стол был одновременно и моим рабочим столом, на нём стояла моя старенькая "Олимпия"), примостившись рядышком со мной, ты выводил свои первые слова: "соль", "чай", "сахар", "олимпия"… И – названия любимых книжек: "репка", "теремок", "сказки", "стихи". Учебным пособием становилось всё, что попадало в поле твоего зрения: не только книжки, но и банки, пакеты, коробки с надписями. Так в первом "писальном" блокноте появилось длинное и трудное: "Фотоаппарат". А потом ты попросил показать тебе, как пишутся слова "мама" и "Антон".

Ты учился писать… Порой, измучившись над какой-нибудь буквой, разражался слезами. Плакал горько, взахлеб, как от обиды, и я напрасно пыталась утешить тебя.

– Не огорчайся, ты ведь ещё маленький, подрастешь – научишься.

– Мне надо *сейчас*! – говорил ты сквозь слёзы.

– Зачем тебе так рано уметь писать?

– Мне – надо! – с недетской убежденностью повторял ты.

– Мне *надо*!

В голосе твоём звучали отчаянье и вызов. И недоумение: как же это я не понимаю таких простых, очевидных вещей? Всхлипнув, ты вновь брался за карандаш…

И хотя ты не мог объяснить, зачем это тебе, но, видя, с каким упорством преодолеваешь ты свое неумение, видя, какой страстью горят твои глаза, я поняла: тебе действительно надо. Не когда-нибудь, не потом – сейчас.

Из стихов двухлетнего Антона, записанных им самим и его мамой

* * *

. "Тук-тук!" –
. молотук!
. "Ток-ток!" –
. молоток.

* * *

Ромашка
по имени бедняжка.

* * *

Закат – циферблат!

* * *

Язычки – сверчки!

* * *

На двух ножках
Улетели сапожки!

* * *

Рыжий верблюд,
Белый верблюд,
Серый верблюд,
Чёрный Кара-Кум!
Стихи про разные деревья
Сосна
по имени весна.
Ива
по имени грива.

Ива
по имени красива.
Клён
по имени силён.
Рябинка
по имени чаинка.
Каштан
по имени чемодан.
Ольха
по имени ха-ха-ха!
Берёзка
по имени слёзка.
Осинка
по имени свинка.
Шиповник
по имени вторник.

* * *

Ночь и зима.
Зима и ночь.

* * *

Прилетела совушка на торшер,
Зажигает крыльями огонёк…

* * *

Дважды два,
дважды два –
это всё знакомо.
Но не знает дважды два,
где растёт голова.

* * *

Копыто –
не умыто!

* * *

Дважды два шестнадцать,
Дважды два шестнадцать,
Кактусы летят,
кактусы летят…
А вдруг, а вдруг
мама улетит?
А вдруг, а вдруг
стол улетит?
А вдруг, а вдруг
кресло улетит?
А вдруг, а вдруг
Антоша улетит?…

Твое любимое кресло-качалка. Тёплое, большое, поскрипывающее… Оно настраивало тебя на особый, лирический лад, задавало ритм твоим фантазиям. Ты мог часами качаться в нём, напевая свои стишки… Большое плетеное кресло, оно было твоим волшебным летучим кораблем, на нём ты уносился в неведомые страны…

Некоторые стихи и песни трёхлетнего Антона

Песня про Африку

Африканская земля,
Африканские качели,
Африканские слоны.
Африканские качели,
Африканские снежинки,
Африканский Маршак.
Африканская мамася,
Африканская бабуля,
Африканский Антон.

Австралийская песня

Австралийская мамася,
Австралийская тетрадь,
Австралийская кровать.

Французская песня

Французская мамася,
Французская машина,
Французские цветы.
Французская булка,
Французская бабуля,
Французская оса!

* * *

Дом сто двадцать,
корпус два.
Все под крышами,
Ква-ква!
Дом сто двадцать,
корпус три.
Все под крышами
Любви.
Песня "Идти спать"
Дэн, дэн,
спатуэн…

* * *

Мама вьёт гнездо на дереве
В этот снежный ранний час…

* * *

Спички –
берёзовые птички.

* * *

В этот день
шли вот, шли
вместе гулять
птица, листок,

градусник, цветок.

* * *

Буду маме помогать,
Буду кухню подметать.

* * *

Автобусы плывут,
автобусы плывут,
по речке плывут
в институт, в институт…

Ты сочинял стихи во время наших долгих прогулок, ты напевал их, качаясь на качелях, пел, сидя у окошка автобуса или такси, когда мне приходилось брать тебя с собой в институт или в издательство. Ты сочинял стихи с раннего утра, едва открыв глаза. И вечером, засыпая, убаюкивал себя какой-нибудь странной, загадочной песенкой. Ты пел про всё, что видел, пел свои открытия, свои удивления, пел свою радость…

* * *

Так-так-так,
Так-так-так,
Ясный вечер на пятак!

* * *

До дому донеси,
До дому донеси,
До дому донеси,
Широкое такси!

* * *

Мы пойдём, пойдём, пойдём
Через печку, через дом,
По трубе, по крыше –

К маленькой афише…

Стихи про календарь

Купим новый календарь –
И опять будет январь.

Стихи про качели

Ноги выше головы,
Увы, увы, увы!

Стихи про цветы

На столе стоят цветы –
Для красоты.

Стихи про чай

Чай, чай,
Не скучай!
Мама заварила чай.

* * *

Июлев август
В сентябре,
в октябре…

Стихи про одуванчики

Мягкие комочки –
С неба колобочки.
Точки, точки, точки
На носу сыночка.

* * *

Вот бежит автомобиль.
Почта. Мусор. Дождик. Пыль.

* * *

Этой строительной ночью
Мама летит под дождём…

* * *

Молоко в цветах дремучих
Продавается в ведре.
А потом на всякий случай
В книжке льётся в январе…

* * *

Из автобуса – в метро,
Из метро – опять в автобус,
Из автобуса – в метро,
Из метро – опять в автобус!
Рад, рад, рад, рад,
Мы приехали назад!

Тебе шёл четвертый год, но ты по-прежнему держал карандаш, как резец: крепко зажав в кулаке. Ты писал печатными буквами, но так уверенно и размашисто, с такой скоростью, что за тобой трудно было угнаться. Кто-то из знакомых сказал, что ты пишешь "яростно". В три года ты почти не делал ошибок. В четыре года пользовался почти всеми знаками препинания, особенно любил тире. Когда тебе не хватало слов, – это тебя не смущало, ты тут же изобретал свои собственные словечки…

* * *

Колючий шиповник,
Залюка стунэй.
Какова здуноэ,
Каков заслаждэй!

* * *

Запухили запуху,
Постояли ундуху!
Дети мамы заглянули,
Уж и дэи ундага.
Укакова залетали,
Укакова зажифас.
Укакова ундэроски,
Патухую ундуху!

* * *

Кукушка – старушка.
Крокодил – старичил!
Песня про разные языки
На французском,
На болгарском,
На японском
Языке!
На домовом,
На машинном,
На качельном
Языке!
На фонарном,
На столбовом,
На травинном
Языке!
На кошачьем,
На собачьем,
На люденском
Языке!
На оконном,
На деревном,
На скамейном
Языке!
На шмитэнском,
На цвитонском,
На гвидонском
Языке!
На потэнском,
На свитэнском,
На пшинином

Языке!…

Мир, в котором ты живешь – многолик и многоголос, все существа и предметы этого мира – одушевлены, каждый из них может рассказать о себе, ибо имеет свой собственный голос, свой язык. Ты в этом мире – переводчик и полиглот.

"А кто говорит на шмитэнском и цвитонском языках?" Ты отвечаешь, ни минуты не колеблясь: "Шмитэны и цвитоны!" – "Какие шмитэны и цвитоны?" Ты удивлен моей непонятливостью. "Обыкновенные шмитэны и цвитоны", – говоришь ты. И просишь: "Качни ещё, пожалуйста!"

Я раскачиваю качели, на которых ты сидишь, в нетерпении болтая ногами, и твой голосок опять звенит в зелёном дворике… "Ты так много песен знаешь!" – с уважением говорит девочка постарше. "Я сколько угодно песен знаю", – отвечаешь ты без тени хвастовства, просто и искренне.

ПЕСНЯ

Лето кончается –
Осень начинается…
Август кончается –
Сентябрь начинается…

* * *

Тётя, тётя,
тётя, тётя,
Вы когда же к нам придёте?…

* * *

Жили-жили, поживали
И сосисочку жевали!

* * *

Без руля и без бензина –
Это вовсе не машина!

Стихи мальчика Антона, которому к тому времени исполнилось четыре года

* * *

А кукушка там кукует
Двадцать лет назад…

* * *

Жевуземчики поёт
Этот старый бутерброд!

* * *

Я тебя скоро начну обнимать –
И ты услышишь, как птицы поют…

* * *

Я тебя люблю, как звёзды,
Я тебя люблю, как солнце,
Я тебя люблю, как осень,
Я люблю тебя!…

* * *

. Годы идут,
. И дни идут,
. И месяцы тоже идут…
. Деревья растут,
. Кукушка кукует:
. "Ку-ку,
. ку-ку,
. ку-ку!"

* * *

Год
идёт

наоборот…

* * *

В щель окна
Влетела муха.
Зажужжала –
и пропала!

* * *

Сорок лет тому назад
Был огромный водопад!
Сорок лет тому назад
Был огромный листопад!
Сорок лет тому назад
Был ужасный снегопад!
Сорок лет тому назад
Был ужасный камнепад!…

* * *

Воэнки, которые
жили да жили,
Всё дальше и дальше
по воздуху плыли…

* * *

Триста лет прожил сундук,
Он объездил всё вокруг!

* * *

Едет, едет слоновоз
И везёт свой длинный нос!
Сирень
Цветёт сирень,
и мама звонкая,
Совсем уж звонкая на всей земле.

И жевуземчик мокнет в поле,
И флаг на каждом корабле…

* * *

Полюби меня, мамася,
Полюби меня просто так!
Тик-так, тик-так, тик-так!

* * *

Хи-хи-хи, хи-хи-хи,
Сто четыре чепухи!

* * *

Семь дней – ну и ну! –
Воробей клюёт одну
Крошку…

* * *

Жало
Бежало
И громко
Жужжало!

* * *

Вода
идёт
и песню
поёт.

А потом пошли и рассказики, и сказки, и всякие фантазии на космические темы…

* * *

Наверное, 3000 лет тому назад, или больше, вот! больше! 600 тысяч лет назад, но уже это давно прошло, весь космос собрал свои вещи, и тут же сели в свои дома, чтоб солнце их не увидело.

Вот они сделали себе звёздный поезд, и уехали каждый в своем вагоне. Вот вышло солнце. Смотрит. Куда галактики, луна и тысячи звёзд подевались? А остались там одни серые тучи. Куда подевалось всё?

Остров "Огонь"

Когда-то, 1000 лет назад, этот остров появился, и никто о нём не знает, кроме меня. На этом острове 1000000 вулканов. Этот остров самый огненный на земле.

Остров, остров,
Вулканный,
Островичка
Огненный!

Морэ-но-яко

Морэ-но-яко – вы думаете, что это какое-то море под названием "Но-яко"? А это не море, а просто какая-то земля, похожая на волну моря.

* * *

Облака, скажите, сколько вы плывете? Может быть, вы плывете сто лет? Отвечайте, люди, сколько мы плывем?

Уже четыре тысячелетия!

Сто любви прошло, и все без печали

(сценарий диафильма)

Однажды, в том доме, который находился на конце нашей галактики, жил человек, который купил любовь. Без печали, за всю жизнь, за сто лет, за сто рублей.

И купил он сто любви, такие мягкие, пушистые…

Ещё книгу 20-страничную – "Инструкция" – как пользоваться этой любовью без печали.

Хорошо, сказал человек, я её буду есть и мне будет вкусно!

Конец

Семь стихотворений

1.

Сколько же лет,
и веков, и жизней
прошло
от этого дня,
от этой ночи?

2.

Это время уже
прошло, давным
давно.
Оно прошло в мае
десятого года,

3.

первого тысячелетия…
Случилось это
в пять часов
десятого числа…

4.

Этот случай был
очень страшный,
огненный, пожарный…

И страшный, и пожарный
одновременно.

5.

Этот случай
был страшный,
страшнее землетрясения.
Этот случай
сделал ЗМЕЙ-

6.

Горыныч, но и то
бы он побоялся!
В этих временах
сгорали города
и даже горы,

7.

И скалы.
Это случай был
страшный, страшнее
взрыва, и войны
в СТО РАЗ.

– Откуда, сынок, ты узнал про этот страшный случай?

– Сам не знаю… – пожал ты плечами.

А в другой раз на мой вопрос: "Откуда?" – ты, сам того не заметив, ответил стихами:

– Сон – моя страна, моя книга.

Ты записывал свои стихи и свои странные, удивительные фантазии где попало и на чем попало… Я собирала рассеянные по дому тетрадки, блокноты, листочки и складывала их в большой старый чемодан, как в волшебную копилку…

Глава 8
Как пройти в Африканский лес?

Ты сидишь на ковре в своем городе. Каждый день ты возводишь в нём всё новые и новые башни, мосты, дома. Город уже захватил полкомнаты и продолжает разрастаться дальше…

В городе имеются: магазины, фотография, почта, театр, фонтаны, часовая мастерская. А так же: автобусные остановки, метро, переходы и мосты. И, как в каждом уважающем себя городе, справочное бюро.

– А это – Башня Для Красоты. Здесь никто не живет. С этой Башни смотрят на город, – говоришь ты торжественно.

Самый настоящий город, со всем необходимым для жизни.

Живут в нём твои зверушки: две Собаки, плюшевая и надувная, два Зайца, белый и рыжий, Белка, Рыба, Утка и Пингвин.

На окраине города расположился лес из сосновых шишек, он называется – Африканский. Африканским мы его назвали несколько месяцев назад, когда в нём жил Негритенок. Но Негритенка мы подарили одной девочке, а лес так и остался Африканским. Теперь в нём живут Тигр и Обезьянка. К Доске Объявлений в центре города прикноплена записка; на ней старательными печатными письменами выведено: "Дорога в Африканский лес". И – стрелка, указывающая путь в оный.

Город время от времени меняет свой облик, а вместе с обликом и название: то это город Горин, то Мунт, то Цэвиранск, то Лэнгэжэмэн, то Гу-гу-син. Но даже во времена страшных развалов и катастроф, когда город лежит в руинах, – всё равно Дух Города продолжает жить, и твоя мысль работает всё в том же направлении: город разрушается лишь для того, чтобы предстать перед нами в новом, ещё более прекрасном облике. Игра продолжается! Не затихая ни на день, продолжается уже пятый месяц…

Все твои игры последних месяцев – городские. Долго, неделю или даже две, играл в магазин. Мне, разумеется, выпала роль покупателя, точнее – толпы покупателей. И мой рабочий стол вскоре оказался завален "покупками": разноцветными пластмассовыми кубиками, огрызками карандашей, птичьими перышками, шишками, желудями и камушками, а так же колесами от разломанных автомобилей, винтиками от разобранных часов и прочими ценностями.

– А чего тебе ещё хочется? – допытываешься ты.

Чего же я ещё хочу? Чего?… Хочу, чтобы ты был здоров, чтобы мне давали работу и чтобы мы всегда были счастливы, как сейчас… Как в сказке: три желания. Но исполнения их не купишь ни за какие деньги, ни в одном магазине… "Вот эту пуговку, пожалуйста. И кусочек синей фольги", – говорю я тебе – и вижу такое сияние на твоём лице, которое дороже всего на свете…

– А пёрышко хочешь? Вот это, жёлтенькое?

– Хочу и пёрышко…

Ты счастлив. Ты вручаешь мне покупки и бумажки с нарисованными на них цифрами. Это – деньги. В твоём Городе такой способ общения с покупателями: продавец вручает покупателю вместе с покупкой её стоимость. Неплохо придумано.

Потом была Фотография. "Хочешь сфотографирую? Чик!

Готово!" И осыпаешь меня "портретами". На каждом из них – человечек с весело растопыренными руками, на каждой руке – веер пальцев. "Мама под дождем", "Мама под снегом", "Мама в шляпе", "Мама с голубыми волосами"… "Почему с голубыми?" – спрашиваю я. "Так красиво!"

Была игра в Почту. Под почтовый ящик ты приспособил большой белый бидон: в него можно опустить не только письмо, но и небольшой подарок, например, "светозажигательные огоньки", которые ты смастерил из деталей пластмассового конструктора. Склеил из цветной бумаги большой конверт, вложил туда письмо и подарок, закрыл его прищепками и опустил в бидон. Ещё написал записку: "Придёт завтра". И положил её на мою подушку.

– Вот тебе, мама. Придёт завтра. Чтобы ты не забыла.

Утром проснешься, а оно уже пришло! Не потеряй только записку.

Тревога о записке не давала тебе заснуть до полуночи. Только начнешь засыпать – и вдруг опять поднимешь голову и озабоченно спрашиваешь:

– Мама, ты записку ещё не потеряла?

– Нет, нет, не потеряла, спи, она у меня под подушкой лежит.

– Под подушкой? – недоверчиво переспрашиваешь ты. – Покажи.

– Ну, вот, видишь? вот она.

– Держи её в руке, крепче держи, чтобы не потеряла. А завтра всё тебе придёт…

Наконец, сон сморил тебя, уставшего волноваться и тревожиться. Хотела бы и я, чтобы кто-нибудь сжимал под подушкой мою записку… Спи, сынок, не волнуйся, не потеряю.

Утром, едва открыв глаза:

– Ну, как, получила письмо и подарок?

– Получила, сынок, всё получила. Спасибо!

…Теперь два светозажигательных огонька стоят на моём столе и светят мне ночью и днём своим чудесным светом.

– Ну, как? Светло теперь тебе?

– Ещё бы!…

Потом ты играл в расклейщика афиш и объявлений. А я была прохожим: читала и удивлялась. Потом была Часовая Мастерская. О!… Но это – отдельный рассказ.

Не менее грандиозной оказалась и игра в Справочное Бюро.

Выстроил очень уютный домик. Размашисто написал на листке бумаги: "СПРАВОЧНОЕ БЮРО. ОТКРЫТО", прицепил лист над окошком, посадил у окошка неваляшку Катю, и она на радость всем нам выдала первую справку: "До города Горин ити там".

После чего справки посыпались, как из рога изобилия.

Пять дней ты неутомимо, упоенно строчил справки, с трудом отрываясь на сон и еду, но и за едой и во сне ты бредил справками, справками, справками…

Ты растерзал на справки все блокноты, которые были в доме, и мы побежали в магазин за новыми. Так как справок было великое множество и никакое справочное бюро вместить их было не в силах, то весь наш дом оказался забросан белыми листочками, а город Горин был погребён под ними, как под снежной лавиной. Стойкая неваляшка нашла, наконец, свое жизненное призвание.

С её приветливой мордашкой и мелодичным голоском, она, казалось, была создана для службы в Справочном Бюро. Она могла выдать какую угодно справку. А моя обязанность (или привилегия?) заключалась в том, чтобы задавать ей вопросы. Правда, вопросы можно было задавать только те, на которые в её арсенале уже имелись заготовленные тобой справки. Справки она выдавала такого содержания: "Как пройти в город Сутоведенск.

На автобусе 3 на метро на поезде долго на автобусе 303".

Или: "Как проехать в дом 38. Пишком".

Выдача справок обычно проходит в очень торжественной обстановке. Я вежливо задаю Кате свой вопрос, ты издаешь

Катей мелодичный звон, затем осторожно, точно священнодействуя, вынимаешь из Бюро нужную справку, громко и отчетливо зачитываешь и – всовываешь справку в клюв Пингвину (который работает Катиным помощником), откуда я с трепетом достаю её. "В дом 6 поехать на автобусе потом пишком". Справка сопровождается рисунком автобуса. "Поезд приходит в 00 часов и

6 минут 2 сентября вторник 1979".

И так далее… И, наконец, – королева справок! "Как пройти в Африканский лес? На автобусе на метро и потом пишком". С такими чудесными справками и в городе Горине и в городе Гу-гусине можно себя чувствовать, как дома.

* * *

Июнь. С высоких тополей клочьями летит белый пух…

Пруды – белые, седые, мохнатые… Утки и лебеди, скользящие по этим коврам, все в клочьях тополиного пуха.

Мы стоим у ограды пруда, и ты никак не можешь налюбоваться на утиную семью: мама и пять крошечных утят. Мы уже обошли весь зоопарк, ты уже покатался на пони по имени Ку-Ку, побывали у слонов, которые не произвели на тебя никакого впечатления. Ну, стоят две серые горы на пригорке и пылят хоботами – ну и что? Ничего интересного. Ни тигры, ни медведи не вызвали у тебя такого восторга, как эти пушистые тополиные утята. Когда мы оказывались у клетки с каким-нибудь экзотическим гигантом, ты начинал допытываться: "А как он оттуда выходит? А где дверь?" И я безуспешно пыталась объяснить тебе, что ни тигр, ни медведь "оттуда" не выходят вовсе, они там живут. Ты слушал мои объяснения недоверчиво и, думаю, не поверил мне. Твой недоверчивый, недоумевающий взгляд говорил мне: "Клетка не может быть *домом*".

А у клетки со львом произошла забавная сцена.

Толпа жаждущих увидеть царя зверей облепила решетку ограды, мы еле протиснулись поближе. Лев, окутанный огромной тёмно-каштановой шевелюрой, картинно возлежал поперек клетки, лениво пошевеливая мускулистыми лапами, отчего под его кожей, как у культуриста, перекатывались шары мышц. Один его глаз спал, а другой сквозь дрему поглядывал на галдящую публику.

– Мама, мама! Смотри, муха! – неожиданно закричал ты. – Муха на замке!

Она сидела на огромном замке и казалось, подглядывает в замочную скважину. Очень симпатичная муха.

Потом мы ходили к птицам. Мы ведь, собственно, и пришли сюда только затем, чтобы увидеть сов. Львы и слоны – это так, по ходу дела. Но – увы! – живая сова оказалась совсем не "как дом", и клюв у неё был совсем не "до неба". Вместо величественных птиц

с горящими, как луны, глазами (какими их всегда изображают на картинках), ты увидел небольших, неподвижно застывших существ. Совы сидели рядком на полках – как запыленные плюшевые игрушки в магазине. Изредка они приоткрывали узкие, слепые на дневном свету щелки глаз – и опять погружались в забытье. Горькое разочарование пережил ты, глядя на своих любимцев… Я даже пожалела, что привела тебя сюда.

В грустном молчании вернулись мы к пруду, и здесь ты опять оживился. Утка с утятами жили своей жизнью, ныряли, ловили рыбок, кувыркались. У каждого утенка, если понаблюдать, обнаруживался свой характер: один был мечтателем и всё время отставал от стайки, задумавшись о чём-то своем, другой – шустрик и задира, он первым доплывал до хлебной крошки, как заводной катерок. Утка-мать, полная нежности и величавости, кружила вокруг детей, откровенно любуясь ними. "Какие крошечные!…" – млел ты от восторга. – "А утка какая замечательная!"

В свои три с небольшим года ты понимал, что хищники, сидящие по клеткам, не живут, а лишь прозябают в роли экспонатов. А муха, подглядывающая в замочную скважину, – жила! И утята жили! Они были *настоящими*. Как Тигр и Пингвин в твоём Городе. Как белки в нашем лесу…

* * *

Ты лежишь в гамаке, привязанном между двух тёплых, золотистых сосен, а по их стволам шныряют вверх-вниз шустрые существа с быстрыми глазами. Колышутся над тобой тёмные ветви, колышется синий просвет неба, колышутся быстроглазые белки на золотистых сосновых стволах – вверх-вниз, колышутся легкие ветерки, овевающие тебя смоляными запахами…

Ты незаметно засыпаешь. А я сижу рядом на тёплом пне, пытаюсь работать. Но толстая рукопись читается медленно, то и дело я забываю о ней и подолгу смотрю на тебя. Ты разрумянился во сне, тёмные ресницы тихонько подрагивают… Интересно, что тебе снится: город Мунт или весёлые утята в пруду? Или что-то и вовсе неведомое мне?… Четвертое лето нашей жизни! Мы никуда не едем и в это лето. Зачем уезжать от наших белок, от этих золотистых смоляных капель, от сосновых запахов?…

Сквер, бухта, лес, зелёные дворики… Планета твоего детства этим летом стремительно расширяется. На днях, проснувшись

утром, ты подбежал к окну, выглянул в мир, омытый утренним солнцем, и воскликнул: "Как далеко видно!…" За крышами соседних домов ты вдруг увидел дальние страны: блеск канала, жёлтые портовые краны, похожие на жирафов, новостройки Тушина, а за ними – леса, леса до горизонта… И там – среди лесов – белоснежную куркинскую церковь. "Как далеко видно!…" – восторженно, изумленно повторил ты, удивляясь и радуясь своему открытию.

Тихонько покачивается между двух сосен гамак, ты спишь под шуршание беличьих хвостов…

Вдруг набежала стайка интернатских девочек, их легко узнать по худым личикам и тёмным стареньким платьям. Они обступили гамак и с восхищением, затаив дыхание, смотрят на малыша. "Совсем как принц!" – громко шепчутся они. – "Живой принц!…"

– А вы мама принца, да?

– Мама.

– А это что? – спрашивает одна девочка, показывая на гамак. Ей лет девять, и я удивляюсь её вопросу.

– Разве ты не видела никогда? Это гамак.

– А… – говорит она. – А принца можно покачать?

– Покачайте.

Десять девчоночьих рук вцепилось в гамак, и тихое покачивание постепенно перешло в яростное. "Ой, девочки, вы разбудите его!" – "А он уже проснулся!" – радостно сообщают они.

Ты проснулся и с удивлением взираешь на незнакомые лица, склоненные над тобой.

– Ты принц, да? Самый настоящий принц? – щебечут они.

Им так хочется сказки – хоть на минуту! Скажи им "да" – и они будут счастливы. Хоть на минуту…

– Ку-ку! – говоришь ты, улыбаясь ещё сонной улыбкой.

Девочки смеются от восторга, даже хлопают в ладоши. И вдруг…

– Принц, а папа у тебя есть? – спрашивает одна из них.

"Ну, вот он и прозвучал, этот вопрос…" – с тоской думаю я и с замиранием сердца жду твоего ответа. Но ты молчишь.

– А, принц? Где твой папа? – её голос всё настойчивее.

Маленькая, худющая, кожа да кости, в тёмно-синем нелепом сарафане ниже колен, болтающемся на ней, как на палке. Она, я вижу, не оставит тебя в покое, пока ты не ответишь ей. "Где папа, принц? На работе?" Ты улыбаешься ей в ответ, ты не можешь понять, о чём она спрашивает тебя. Для тебя слово "папа" так же незнакомо, как для неё слово "гамак".

– А у него есть папа? – оборачивается она ко мне. – Почему он

не говорит? – она смотрит настырно и колюче.

Милая девочка, что ты хочешь, чтобы я ответила тебе?

Какой ответ тебе радостней услышать: что папа принца – король и правит своим королевством? Или что его нет? И маленький принц, так же, как и ты, не знает отцовской ласки?… Что ответить тебе, чтобы утешить тебя?

– Значит, нет! – заключает она, с недетской прозорливостью растолковав для себя моё затянувшееся молчание. – А у меня есть! – выкрикивает она с горьким вызовом. – У меня есть! И он приходит ко мне!

– Вот и чудесно, – говорю я и провожу рукой по её жиденьким косицам. – У таких девочек, как ты, должны быть папы.

Ее колючки мгновенно размягчаются, и она жалко улыбается в ответ на мою ласку.

– А нам покататься можно? – показывает она на гамак.

– Конечно, можно.

Девочки довольно бесцеремонно высаживают принца на землю, и он тут же устремляется по лужайке за серебристым, просвечивающим на солнце беличьим хвостом… А они по очереди укладываются в гамак и со смехом и визгами раскачивают его. То и дело происходят короткие перепалки: каждой хочется в гамак и ни одной не хочется уступать его.

– Девочки, вас не будут искать? – осторожно спрашиваю я.

– Не-а! Не будут!

Гамак трещит и потихоньку сползает всё ниже и ниже. А девчонки, как угорелые, плюхаются в него одна за другой.

– Сильней! Давай-давай!… – кричат и хохочут они на весь лес.

Две веревки уже перетерлись и лопнули, гамак едва болтается, девчонки елозят спинами по земле, и уже давно пора остановить их, но у меня не хватает духу прервать их отчаянное веселье.

Когда перетирается ещё одна, последняя веревка, и гамак падает в траву, на девочек словно находит протрезвление. Они смотрят на гамак, как на лопнувший шар, который вдруг, ни с того, ни с сего, шмякнулся на землю, хотя им казалось, что он их возносит всё выше и выше – в счастливые дали невиданных радостей и удовольствий…

– А завтра вы придёте? – спрашивают они, с сожалением глядя, как я сворачиваю веревочную плетеную радость. – Приходите, ладно? И *это* приносите.

– Если удастся починить.

Мы пришли, а девочки – нет…

* * *

Я всё жду, что ты мне задашь вопрос, которого я так боюсь. Но ты словно щадишь меня. Хотя на самом деле всё гораздо проще: непонятное слово проскользнуло мимо тебя, не затронув твоего сознания. Ты не понял, о чём тебя спрашивала девочка в лесу. Ты не понял…

Но, наверное, время, отпущенное мне на подготовку, уже истекло.

Через несколько дней, в песочнице: ты играешь, я читаю. Рядом – пожилая женщина с внучкой. Бабушке явно хочется пообщаться, и она задаёт невинный на её взгляд вопрос:

– Какая у тебя чудесная машина, – говорит она тебе. – Это тебе папа, наверное, купил?

– Мама купила, – говоришь ты.

– А я думала: папа, – не унимается словоохотливая бабушка. – А как твою маму зовут? Какое хорошее имя! А папу? Не знаешь?…

– Антоша, нам пора.

Я беру тебя за руку и торопливо увожу.

Но – слово сказано, и слово – услышано.

– Мама, а что такое "папа"?

– Папа?… Ну, как тебе объяснить… Мы с тобой живем вдвоем. А бывает, люди живут втроем: мама, ребёнок и папа. Папа – это такой дядя, который любит ребёнка, как мама. Только он дядя, а не тетя.

Я чувствую, что окончательно запуталась, чувствую, как глупы мои объяснения. И уныло добавляю:

– Папа – это муж мамы.

– А у тебя есть муж?

– Нет.

– Почему?

– Разве нам плохо вдвоём? – отвечаю я вопросом на вопрос.

– Хорошо!

На сегодня – ты удовлетворился моим ответом.

– Впрочем, если ты хочешь познакомиться со своим папой… Ну, с тем дядей, который когда-то хотел быть твоим папой…

– Зачем? – пожимаешь ты плечами.

– Действительно, зачем?…

* * *

Сидим на ковре в твоём Городе. Сегодня это – Мунт, самый древний город на земле…

Мне легко войти в твой мир, в твой Африканский лес, в дивный сказочный лес твоих фантазий, твоих загадочных песен… "Прилетела совушка на торшер… Зажигает крыльями огонёк…"

– Знаешь, мама, я всё равно её люблю, хоть она и такая маленькая. Что же: и не любить теперь? Если она маленькая?

И запел дальше:

"Колючий шиповник,
Залюка стунэй…
Какова здуноэ,
Каков заслаждэй…"

Мне хорошо здесь с тобой. Ты принимаешь меня за жительницу этой страны, этих мест. Лишь смутно, изредка догадываясь, что я – пришелица из другого африканского леса – из леса взрослых людей. Но мне не очень-то уютно там – в моём взрослом лесу. И никто не назовёт меня в том лесу *своей*. И я никогда не чувствовала себя в нём – дома. Но куда денешься? Приходится ходить по его дорожкам, продираться сквозь его чащи, удивляясь и ужасаясь нраву его обитателей: не голодны, а кусаются…

Мне хорошо здесь, с тобой, в волшебном лесу твоего детства. Вот я сижу с тобой на ковре, среди дивных башен твоего Города, и помогаю тебе в одном трудном деле, с которым ты не смог справиться сам: мы ломаем барабан. Я – твоя сестра, твоя подружка. Мы весело хохочем, докопавшись наконец до гулких барабанных недр – и обнаружив там пустоту… Да жесткую оборку кожи, натянутую на круг. Огорчен ли ты, что всё оказалось так просто? Удивлен. Мне и самой удивительно. Мне тоже казалось, что внутри у него – некий механизм, который гудит и рокочет, рождая загадочное эхо. Но – пусто внутри. Вот и ответ на ещё один твой вопрос.

Но у тебя наготове другие, куда посложнее… Я чувствую, что они уже совсем близко, рядом. Я давно готовлюсь к ним. С того самого дня, который ты не можешь помнить, потому что тебе было всего двадцать пять дней. Ты не можешь помнить тяжёлого мрачного снега за окном, и стука выносимой мебели, и человека в мокром от снега пальто, даже не взглянувшего на прощанье в

твою сторону… Теперь – он хочет тебя увидеть. Теперь – когда мы с тобой выкарабкались. Теперь, когда самое трудное уже позади: и бессонные ночи, и груды мокрых пелёнок, и твой тихий жалобный плач… Теперь он хочет с тобой общаться. Он говорит: "Это же мой сын! Я имею право". Господи, какая банальная история! И ничего не придумать взамен того, что есть, что было…

Африканский лес взрослой жизни. Лес, где с такой легкостью предают и уходят. Лес неразрешимых проблем. Лес вопросов, на которые так трудно ответить…

"Мальчик должен знать своего отца", – вспомнились мне слова моего старого друга, человека, познавшего и радость, и горечь отцовства. "Зачем?" – спросила я его тогда. "Чтобы рос без комплексов. Ты же его всё же не в капусте нашла… И потом: у вас не получилось – это ваше личное дело. А у них, может быть, и получится. Как знать?" Как знать?…

Если ты захочешь, ты увидишь его. А дальше – решай сам… Видишь барабан, который казался таким загадочным? Но – пусто внутри…

Так не хотелось вводить тебя раньше времени в наш африканский лес… Так хотелось отодвинуть на подальше этот день. Убрать с дороги все коряги, разогнать все тучи… Если бы это было возможно!

Я вспомнила интернатских девочек – детей, раньше времени оказавшихся во взрослом лесу… Незащищенность и маленький рост – вот всё, что в них осталось детского. Их не удивишь предательством. Они хорошо знают, что такое одиночество. А ласка и сказка – вещи для них незнакомые, из другого мира…

Тебе, в общем-то, тоже несложно оказаться во взрослом африканском лесу. Пока мы здесь, на ковре, в твоём Городе – мы недосягаемы для него. Но стоит выйти на улицу…

Ты щиплешь травку и складываешь на дорожке в сквере.

"Птичка прилетит и поклюет. А мы завтра придем и посмотрим: поклевала или нет". И тут – из-за деревьев – две прогулочные дамы. С криками набрасываются они на нас, на тебя: "Ты что же это траву рвешь, а?! Плохой ты мальчик, хулиганом растешь, да? А вы, мамаша? Стоите и смотрите? Вот у таких родителей такие дети и вырастают!…" Они источали такую злобу, кипели желчью… Что я могла сказать им? Что вокруг на газонах стога скошенной травы? И щепотка травы, сорванная тобой, не может нанести вреда зелёному буйству, которое завтра ляжет под косу? Они бы не услышали меня. Они были из другого мира, с другой планеты… Я взяла тебя за руку и увела поскорее от этого

места. Мы уходили, а вслед нам неслось: "Вот такие всегда… своих защищают…"

– Мама, а что тетя говорила? – теребишь меня за руку. – Я ничего не понял.

– Тетя говорила глупости.

– Глупости? – изумляешься ты.

– Да, глупости. Взрослые тоже бывают глупыми.

Ты озадачен…

А вскоре – другой случай. Вышли на прогулку после сильного ливня, который бушевал всю ночь. Увидели в сквере деревце, поваленное ночной бурей. Ты подбежал, поднял, пытаешься укрепить его в лунке, сокрушаешься: "Это кто же его сломал? Ветер или человек? Очень мне интересно. Ты как думаешь? А оно приживется?"

И тут – дядечка с авоськами, любитель природы.

– Дерево ломаешь, хулиган? От горшка два вершка, а уже безобразничать!…

"Да за что же вы?…" Но он не дал мне договорить, он просто трясся весь от негодования. И я опять взяла тебя за руку и увела тебя поскорее и подальше. "А этот дядя чего кричал?" – "Он нас неправильно понял". – "А почему ты ему не объяснила?" – "Я пробовала. Но он глухой". – "А…" – с облегчением протянул ты.

Как защитить тебя от этой инопланетной злобы? Как уберечь от ядовитых стрел? И почему, почему они летят в тебя, в моего ребёнка, смотрящего на мир с такой доверчивой улыбкой? Почему именно тебя они избирают своей мишенью? Хотя… что за наивные вопросы я задаю? Известное дело: лучшей мишенью всегда было – *светлое*…

Идем по аллее. В руках у тебя – охапка пахучих зелёных веток, которые ты собрал под подстриженными тополями. Целые горы распустившихся к жизни веток лежат грудами на газонах. Ты готов был унести всё. "А если посадить на балконе, они приживутся?"

И опять – любительница природы тут как тут. И вновь – крик, брань… "Да посмотрите же: вот они лежат, на газоне! Никто не ломал!" Нет, не слышит. Прочь, прочь отсюда, да поскорее! Только бы не вступить с ней в бессмысленную перебранку… Господи, почему они так ненавидят?… И почему их так много?…

– А почему эта тетя злится? – недоумеваешь ты.

– Почему?… Наверное, её кто-то сильно обидел. Вот она и злится.

– На нас?

– На всех. И на нас в том числе. Видит: у нас хорошее настроение, ей завидно, вот она и злится. Ее только пожалеть остается… Наверное, ей очень плохо жить.

У соседнего дома пенсионер в спортивном костюме, с интеллигентной бородкой, подрезает кусты. Круглый год он холит газон под своими окнами – на радость и удивление прохожим. Маленький японский садик. Каждый раз мы останавливаемся здесь и любуемся. Остановились и сегодня. Весело щелкают огромные ножницы, улыбается и мурлычет что-то себе под нос бородатый садовник. "Ну, что, пойдем, Антоша?" – "Ещё немножко посмотрим. Такие огромные ножницы!…"

Садовник оборачивает к тебе весёлое лицо, подмигивает и, пощелкав ножницами в воздухе перед твоим носом, говорит:

– А сейчас пальчик отрежем!

Ты вскрикиваешь и отшатываешься, стремительно спрятав руки за спину. На твоём лице – ужас. "Не надо!…" – вырывается из тебя отчаянный вопль.

– Господи, да кто же так шутит?!

А садовник смеется.

Рыдающего, подхватываю тебя на руки, бегу от японского садика…

– Сынок, успокойся… дядя пошутил… просто дурацкая шутка. Поверь мне.

– Шутка?… – горестный, недоуменный взгляд – и новый взрыв рыданий…

Мое плечо мокро от твоих слез, в душе что-то сжимается, и я думаю: "Боже мой! Сколько же ещё впереди… И как подготовить тебя к этому? И можно ли вообще к *этому* подготовить?…"

* * *

– Мама, хочешь о чём-нибудь спросить?

– Хочу.

– Тогда спрашивай! Тут справок много!

– У меня такой вопрос: "Как пройти в Африканский лес?"

– Вот! Пожалуйста! Получай!

Пингвин держит в клюве листик с ответом…

Как легко. Как просто. Мы опять здесь – в твоём чудесном лесу, где ни львов в клетках, ни взрослых дикарей с их

дикарскими шутками.

– Опять про этого папу спрашивали, – говоришь ты.

– Кто?

– Какая-то тетя. Когда ты в магазин ходила, а меня на площадке оставляла. Говорит: "Что это ты всё время с мамой гуляешь? А с папой никогда".

– И что ты ответил?

– Не помню… – говоришь ты и пожимаешь плечами.

– Хочешь познакомиться с ним?

Ты пожимаешь плечами. Ни да, ни нет. Ты не знаешь.

Откуда тебе знать?…

И когда через несколько дней я сообщаю тебе, что завтра к тебе придёт гость, никакой радости ты не выказываешь. Только удивляешься: "А почему такое странное имя – Папаборя?"

Ты играешь на ковре, в своем Городе. Рядом – в кресле, закинув ногу на ногу, довольно покачивая носком башмака, – представитель взрослого африканского леса, куда тебе до времени лучше бы не ходить…

– Ну, как ты тут поживал? – торжественно произносит он.

– Хорошо, – говоришь ты.

Так как тебе сказано, что это – твой гость, ты старательно пытаешься увлечь его в свою игру.

– Давай строить башню, – предлагаешь ты.

– Ты строй, строй, Антоша.

– Давай вместе. Ну, давай же!

– Знаешь, Антоша, я от природы ленивый, – говорит "папаборя". – Ты играй, играй. А я почитаю…

Он вынимает из портфеля сборник рефератов и углубляется в него. Но, оторвавшись от чтения, неожиданно спрашивает:

– Антоша, ты кого больше любишь: маму или бабушку?

О, эти сакраментальные вопросы от нечего спросить…

– И маму, и бабушку, – говоришь ты.

– А кого больше?

В ответ – затянувшееся молчание. Вхожу в комнату, чтобы выручить тебя. И чувствую, каким бесцветным стал воздух от присутствия этого человека. И слова, витающие в этом тусклом пространстве, лишены плоти, не слова – а оболочки, словно пустые коконы.

– Ну, кого? – допытывается гость. – Маму или бабушку?

В растерянности ты смотришь на меня.

– Мой сын не умеет отвечать на глупые вопросы, – говорю я, и мой собственный голос кажется мне чужим и деревянным.

– Ну, почему же глупые? – удивляется он.

– Если не о чем спросить, лучше помолчать, – говорю я, с тоской чувствуя закипающее раздражение. Больше всего боюсь сейчас сорваться. Не хватало только сцен!…

Я хочу, чтобы он поскорее ушёл. А он сидит и не уходит, и всё покачивает носком башмака… От этого покачивания у меня всё передергивается внутри. Господи, какой банальный спектакль!

Хочется прижаться к тебе, уткнуться в твой пушистый затылок, вдохнуть твой молочный, цветочный запах, прошептать: "Забери меня скорее в свой волшебный лес!…" Чтобы воздух опять стал сияющим, радужным, а слова – живыми и трепетными, весёлыми, как бабочки…

Беру иглу, нитки и начинаю чинить твои вещички. Они пахнут тобой, и от прикосновения к ним я успокаиваюсь. Поглядываю на тебя. Ты то разрушаешь, то возводишь вновь свою башню…

А гость сидит и болтает: о своей докторской, о том, как отдыхал на Байкале, о каком-то нашумевшем романе, ещё о чем-то…

– Антону пора спать, – говорю я.

– Да, да! Ухожу, ухожу… Очень был рад, Антоша, познакомиться с тобой. Я вижу, тебе с мамой хорошо. Слушайся маму, не шали.

– А я и не шалю, – говоришь ты, удивленно взглянув на него.

– Так не бывает, чтобы мальчик не шалил. Наверное, всё же шалишь. И мама тебя наказывает.

– Нет! – говоришь ты, всё с большим удивлением и неприязнью глядя на гостя. – Не наказывает.

– Но ведь так не бывает!

– Никогда не наказывает!

Я могла бы оборвать этот нелепый разговор, но ведь я дала себе слово не вмешиваться, не мешать тебе – *познавать*. На этот раз не барабан, а нечто другое. Посложнее – или попроще?… Этот дядя сладко улыбается и задаёт тебе вопросы, повергающие тебя в смущение и беспокойство. Ты чувствуешь, что он хочет уличить тебя в чём-то. Но в чём?

– Так не бывает, – говорит он, – чтобы всё было хорошо.

– Бывает! – ты уже почти кричишь ему, словно глухому. – У нас всё хорошо!

– А если я не поверю тебе?

И тут я не выдерживаю.

– Мой сын всегда говорит правду!

Господи, ну, спектакль – так спектакль, зачем же я должна

убеждать кого-то в твоей честности? Да он и не понял ничего…

Чмокнув тебя в макушку, гость уходит.

После его ухода ты ещё долго находился в мрачной задумчивости. А потом сказал: "Мне такого не надо".

* * *

– А в мой волшебный лес хочешь? – спрашиваю я тебя. – У меня ведь тоже есть свой сказочный город, целая страна…

– Хочу! А как туда ехать?

– Очень просто…

От волнения и воспоминаний не спала всю ночь…

И вот мы уже идем по Самотеке, жаркой и шумной, как всегда летом, в воскресные дни. И сворачиваем на Цветной…

Сколько же лет я не была здесь?… Приглушенный, заваленный тополиным снегом, бульвар. Снег падает, падает… медленно и долго… Справа и слева – за тополиными занавесами – гудящие вереницы машин и прохожих. А здесь – тихо и пусто. Только мы с тобой.

– Это и есть моя страна, – говорю я тебе, – мой сказочный лес…

Ты идешь рядом со мной вприпрыжку и решительно всё приводит тебя в восторг. "Какие деревья огромные!…" "Какие воробьи толстые!…" "Какие скамейки длинные!…" Ты отпускаешь мою руку, бежишь к скамье и с разбегу валишься на неё, утопая в перине из тополиного пуха. "Ой, ой, щекотно! – хохочешь ты. – Спасите!… А в Цэвиранске тоже такие скамейки, я вспомнил! Ещё длиннее!…"

А я всё вглядываюсь вдаль – за пелену тополиного занавеса – и вздрагиваю, лишь только мелькнет там, вдали, чей-то силуэт… Хотя вглядываться и вздрагивать – нет причины. Вот уже семь лет, как можно спокойно ходить по этому сказочному лесу – и не ждать, и не бояться. И не надеяться…

Ты идешь рядом со мной, весело болтая. Значит – всё сначала? По второму кругу?… Будем обживать эту страну вместе. Только не отпускай мою руку, пожалуйста. Нет, не за тебя боюсь – за себя. Крепче сожми, ещё крепче!

Ступени старого цирка в тополином снегу… Мягко и тихо

ступаем по ним, бесшумно и мягко – как во сне. Видишь, купол? Однажды я сидела на нём. На самой макушке цирка, представляешь? И день был – как сегодня, и небо такое же синее…

Входим. Те же билетерши в дверях. Тот же одуряющий, сводящий с ума запах конюшен… Те же желтоватые луны фонарей в фойе… И визги настраивающегося оркестра… И тяжёлые портьеры, впитавшие в себя столько тревожных и сладких запахов… Уткнуться в них лицом – словно окунуться в прошлое – и пропасть…

Манеж тихий и кажется маленьким, пока в зале темно.

Хочешь посидеть на этом бархатном барьере? Посиди. Только туда – не ходи, не переступай его. Да, это манеж волшебный. Он заколдовывает всех, кто лишь однажды ступил на него… Нет, это совсем не страшно, даже весело. Только потом – грустно… Но ведь мы пришли сюда не грустить, правда?

И Первая Скрипка, худенькая женщина с пышной челкой, узнала меня и помахала нам с балкона смычком…

А потом – грохнул оркестр, прямо над нашей головой, и жаркие софиты ослепили нас, и на красном ковре закружились, замелькали: собачки и акробаты, жонглеры и наездники… Ты сидел у меня на коленях, и я смотрела не на манеж – а на тебя: через твою радость я хотела опять почувствовать себя счастливой в этой стране… Я прижимала тебя так крепко, словно держалась за спасательный круг. Помоги мне, не дай пропасть!…

Но совсем уж грустно стало, когда в манеж выбежал клоун. Нет, не наш Клоун – другой. Дежурный хохмач, встреченный дружным хохотом зрителей… Только бы не заплакать, только бы выдержать… Ты тоже не смеялся. То ли тебе передалась моя тоска, или просто устал – от шума, красок и духоты. Как я здесь просиживала дни, месяцы напролет?…

– Хватит, пойдем отсюда, – неожиданно сказал ты.

– Разве тебе не нравится? Смотри, какая смешная обезьянка…

– Не могу больше. Такой большой грохот!… Я здесь уже набылся.

Ты сполз с моих коленей и потянул меня к выходу.

И вот мы опять идем по Цветному бульвару, и прозрачные, легкие занавесы тополиного пуха отделяют нас от машинного гула и мельтешения воскресной толпы на тротуарах, от грохота циркового оркестра, от визга клоуна, от хохота…

Мы идем по Цветному бульвару, и я не знаю, придем ли мы

ещё когда-нибудь сюда… Но впервые я так отчетливо понимаю, что никогда мне уже не войти в мой волшебный лес и не быть здесь счастливой…

Ты крепко держишь меня за руку. Ты рассказываешь про высокие деревья, которые растут в городе Горине, про башни, которые выше этих деревьев, и про птиц, которые вьют гнезда на их крышах.

И я ухожу в твой Африканский лес, и уже не оглядываюсь назад…

Глава 9
Почти сказка про Крышу

Лето. Пронзительно кричат стрижи в высоком июньском небе. Мы стоим на площади, запрокинув головы, и смотрим на крышу.

– Это – наша крыша, – говорю я тебе.

– Почему "наша"? – удивляешься ты.

– Я жила там одно долгое лето…

– А я где был?

– Тебя ещё не было.

– А кто там ещё жил?

– Кто там жил?… Там жили голуби, молчаливый колокол, и лев, Лёвушка. И луна там жила, и кошки, и печные трубы, похожие на гномов, и художник в мансарде. Мансарда – это такая комната на крыше, со стеклянным потолком. Из окна мансарды художник выходил на крышу. Побродить, подумать… А ещё там жили девочка по имени Нуш и весёлый задумчивый Гавр.

– Это сказка? – спрашиваешь ты.

– Это почти сказка…

* * *

Эта почти сказочная история началась с того, с чего начинаются все сказки. Она началась с "однажды"…

Однажды, а был это самый обычный летний день, на квартире у одного старого поэта собралось весёлое общество. Поэт был очень стар, болен и прикован к постели. Он любил, когда в его доме собирались молодые поэты, любил слушать их стихи и споры. По вечерам в его большой комнате, тесно заставленной стульями и книжными шкафами, бывало жарко, шумно и весело.

Однажды сюда пришёл Гавр. Высокий, бородатый, с громким голосом, он спорил и горячился больше всех.

А тише всех в этой комнате была Нуш. Она весь вечер молчала, внимательно вслушиваясь, но не вступая в споры. И вдруг неожиданно сказала: "Хотите, я расскажу вам сказку?" И все перестали спорить и с любопытством посмотрели на неё. А старый поэт ободряюще улыбнулся ей.

Сказка была про крышу. Про грустного Клоуна, который жил в одной из башен со своей скрипкой и дырявым зонтиком. Про

Паучка, который завелся на часах, и норовил остановить время. Про каменного льва, Лёвушку, который днём сидел у входа в главную башню, а по ночам разгуливал по крыше, разминая затекшие лапы… Много разных удивительных историй происходило на этой сказочной крыше.

Когда Нуш замолчала, все опять заспорили. Кому-то сказка понравилась, кто-то, напротив, считал, что сказка неудачная, потому что непонятно, для кого она написана – для детей или для взрослых. А третьи говорили, что сказка без любви – это не сказка.

И только Гавр сидел задумчивый и не участвовал в споре.

Когда стали расходиться, Гавр, пересилив смущение (потому что на самом деле он был очень застенчив, несмотря на свою бороду и громкий голос), подошёл к Нуш и сказал:

– Я хочу увидеть твою крышу.

И она улыбнулась ему и сказала:

– Это здесь, неподалёку. На Старом Бульваре.

– Странно, – сказал он. – Я живу на Старом Бульваре с детства. Но такой крыши не видел…

Гавр и Нуш шли по вечернему городу. Был июнь. Солнце, казалось, не собиралось садиться. Кругом, во дворах и на бульварах, цвела сирень. Но больше всего её было на Старом Бульваре.

– А вот и мой дом! – сказала Нуш.

Он возвышался на углу Старого Бульвара и шумной улицы.

Гавр запрокинул голову… и увидел. Увидел прекрасные башни, остроконечные крыши которых сверкали на солнце серебристой чешуей. Увидел легкие балкончики, словно парящие в воздухе, увидел огромные часы, и мансарды, и флюгера. Над башнями стремительно проносились стрижи. Флюгера вертелись на ветру…

– А это – моя башня, – сказала Нуш. – Та, что с часами.

И с балкончиком на самом верху. Оттуда виден весь город.

Дом был огромный, он занимал целый квартал. Гавр и Нуш стали обходить его со всех сторон, любуясь башнями. Часы на главной башне были трёхликие. Три огромных циферблата, каждый из них – во всю стену башни. Один циферблат был виден с площади, другой с бульвара, а третий с улицы. Гавр заметил, что на всех трех циферблатах стрелки показывают разное время.

– Часы на твоей башне барахлят, – сказал он. – Пора вызывать мастера.

Нуш как-то странно посмотрела на него, улыбнулась и ничего не ответила.

Пройдя под высокой гулкой аркой, они оказались во внутреннем дворе. Похожем на колодец. Подъезд в глубине. Чугунная винтовая лестница, от которой кружилась голова… Ступени лестницы басовито гудели, отзываясь на их шаги. Кругом шмыгали коты и их тени…

Поднявшись наверх, Гавр и Нуш немного постояли, переводя дыхание.

А потом была ещё одна лестница. Узкая и крутая, как на корабле. И массивная, окованная железом дверь, запертая чисто символически – на гвоздь. Нуш вынула гвоздь и толкнула тяжёлую дверь.

– Входи! – сказала она. – Это моё царство.

Дверь заскрипела, в глубине башни раздались чьи-то вздохи… И вдруг – оглушительные аплодисменты, точно взрыв. Гавр вздрогнул и замер на пороге.

– Это голуби! – засмеялась Нуш. – Они приветствуют тебя.

Глаза быстро привыкли к сумраку. И Гавр увидел, что они находятся внутри высокой деревянной башни, с узким окном где-то вверху. В это окно влетали и вылетали голуби, то и дело затмевая свет.

В башне не было ничего, кроме деревянной лестницы в два пролета, которая вела ещё выше. Ступени были усеяны птичьими перьями. Лестница упиралась в дощатый потолок. И только поднявшись на верхние ступени, Гавр разглядел в потолке люк. Откинув его, они поднялись ещё выше и оказались в башне, стенами которой служили циферблаты часов. Сквозь щели в них светило вечернее солнце. В четвертой стене было небольшое окошко, оно смотрело во внутренний двор. Через это окошко можно было вылезти на крышу.

– Но сначала мы поднимемся наверх! – сказала Нуш. И она показала на стремянку. Обычную стремянку, которая вела ещё выше! Туда – на самую вершину башни, на маленький круглый балкон, парящий над городом…

Здесь царили небо и ветер, здесь кружились голуби, и весело трещал флюгер. Здесь были хрупкие перила, на которые боязно было опереться, и головокружительное ощущение высоты. Гавр и Нуш стояли на горячем, нагретом солнцем люке. Ветер, залетая на балкон, свивался улиткой в колоколе над их головой. Голос ветра звучал в колоколе и тогда, когда ветер покидал его. Так же, как звучит голос моря в вынутой из моря раковине…

Отсюда, с балкона, был виден весь город, похожий на каменный океан. И вся крыша. Зелёная, как поляна. У входа в башню сидел Лёвушка. Между печных труб бегали два рыжих

кота. И порхали бабочки! Беленькие бабочки-однодневки…

– Как они могли залететь так высоко? – удивился Гавр.

– Просто они здесь живут, – сказала Нуш. – Здесь рождаются и здесь умирают. На крыше.

Гавр и Нуш взглянули друг на друга. И в тот миг, когда их взгляды встретились, случилось то, из-за чего совершаются на земле подвиги и глупости, пишутся стихи и слагаются сказки. А те, с кем это случилось, говорят: "Теперь мы никогда не состаримся и не умрем". Солнце для них начинает светить иначе, и даже снег пахнет фиалками…

– Я тоже хотел бы остаться здесь, на крыше, – сказал Гавр.

Внизу, в узких расщелинах улиц, уже сгущались сумерки.

По тротуарам двигались бесконечные вереницы прохожих.

Отсюда, с высоты, люди казались совсем маленькими, похожими на суетливых муравьев.

– Неужели никто не видит крышу? – изумился Гавр. И с грустью добавил: – Ведь и я мог бы не увидеть…

– Хочешь узнать, почему часы показывают разное время? – спросила Нуш, когда они вновь спустились в башню. – Они действительно показывают *разное* время.

Гавр и Нуш стояли у часов, глядящих на бульвар. Сквозь щели было видно тёмно-красное солнце, оно медленно опускалось в каменный океан…

– Смотри! – она легонько нажала на рычаг, двигающий стрелки. И… солнце, только что затерявшееся среди крыш, вынырнуло из каменной расщелины и стало быстро и легко, точно воздушный шар, подниматься над городом, снова наливаясь дневным светом…

– Что это?! – воскликнул Гавр.

– Часы Прошлого, – улыбнулась Нуш. – Они идут назад. Мы вернулись в утро сегодняшнего дня…

– Утром я ещё не знал тебя, – сказал Гавр.

– Теперь это утро мы можем прожить вместе, – улыбнулась Нуш. – А это… – и она показала на вторые часы, глядящие на площадь. – Это – Часы Настоящего. По ним можно проверять время. Они никогда не врут.

Гавр и Нуш взглянули на третьи часы. И Гавр, охрипшим от волнения голосом, негромко спросил:

– Значит… это Часы Будущего?

– Да… Только они стоят. И не потому, что сломаны. Наверное, потому, что их время ещё не пришло…

Стрелки на Часах Прошлого вертелись по велению руки…

Замер изумленно прохожий, случайно взглянувший на башню: часы идут в обратную сторону! Недоуменно покрутит головой прохожий и поспешит дальше, не оглядываясь, сосредоточенно глядя под ноги, на тротуар, засыпанный жёлтыми, оборванными зноем, листьями… Он убегает, не слыша весёлого смеха Гавра и Нуш, которые стоят на башне в тени колокола…

С той же легкостью, с какой они крутят стрелки на этих часах, Гавр и Нуш путешествуют по своему прошлому: во вчера, в год назад, в давно и в недавно…

– Любой день нашей жизни мы можем прожить заново, теперь уже – вместе.

Детство… Они дети. Шапито… Маленький цирк под брезентовым куполом. Им казалось, что их только двое здесь. И что шапито на крыше. Капал в прорехи купола дождь. Гавр и Нуш сидели под зонтиком и тихо смеялись. То ли тому, что на манеже, то ли чему-то своему…

Они бегали по крыше, изредка взглядывая вниз – и голова кружилась от высоты. Они бегали, прячась друг от друга за трубами, старыми печными трубами, поросшими косичками травы. "Смотри, они похожи на гномов! Добрых старых гномов."

Они любили, сидя между печных труб, смотреть на закат, на луну, болтать с ветром, звёздами, кошками и Лёвушкой.

Добродушно поглядывал на них Лёвушка. Милостиво исполнял роль почтальона. Под его правой лапой они оставляли друг для друга записки. И маленькие подарки. Однажды там появился грустный глазастый домовой. В другой раз – красный клоун, его руки были скованы цепочкой, и он прыгал через цепочку, как через скакалку.

Было весело. Весело до слез. Трещали стрелки часов, крутились туда и обратно. Кружились испуганные голуби…

И была юность. И была свеча под лестницей. Они любили сидеть молча, глядя на её пламя. Они взрослели. Взрослели и грустнели. Взрослели, будто просыпались, и боялись проснуться до конца…

И был заросший камышом пруд около маленькой, из красного кирпича церквушки на окраине города. И смешные слова, смешанные с поцелуями. Этот солнечный пруд, эта церквушка, они тоже каким-то странным образом были на крыше, парили над землей, над суетой, над маетой…

– Самый непонятный для меня день: чем я жил накануне нашей встречи?…

"Можно к вам?" – заглянули они в окошко мансарды.

"Заходите! – улыбнулся художник. – Я давно поджидаю вас." У художника были голубые зоркие глаза и седая борода. "Борода – краса мужей, – с детской важностью говаривал художник. – А усы и у кошки есть."

И они пили чай. И смотрели картины. А на картинах разгуливали сиреневые лошади и огненные петухи, и красные креветки на берегу моря играли в красный мяч. И знакомые рыжие коты сидели у знакомых башен.

А жена художника, маленькая, худая, горбоносая, с прекрасными лучистыми глазами, читала стихи. И стихи были о любви. Старый художник и его жена, они ведь тоже жили на Крыше.

Гавр и Нуш вышли от них так же, как вошли – через окно.

И, взявшись за руки, пошли по самому гребню крыши, не боясь оступиться. "Не будем клясться, но давай никогда не разлюбим друг друга", – сказал Гавр.

– А что потом, когда придёт зима? – спросила Нуш. – И зелёная крыша покроется снегом, а в нашей башне поселится дремучий холод…

– Наше лето не кончится, – улыбнулся Гавр.

– Потом, когда придёт зима?… – повторила Нуш.

– Ты боишься старости? – спросил Гавр. – Но мы никогда не будем старыми. Посмотри на художника и его жену. Мы будем такими же.

– Не старости я боюсь, – сказала Нуш. – Я в старость не верю. А того, что лето кончится…

– Здесь, на Крыше, всегда будет лето, – сказал Гавр. – Наше лето…

И опять трепетала в башне свеча… И они смотрели на её маленькое светлое пламя. Медленно, не торопясь, точно в раздумье, двигались стрелки на Часах Настоящего.

– Уже август… – грустила Нуш. – Тебе не кажется, что мы похожи на бабочек-однодневок?

– Нет, – улыбнулся Гавр. – Мы будем жить долго.

– Я не о том…

Она грустила, а он не понимал её грусти. Она сказала:

– Мне кажется, за это лето мы прожили всю нашу жизнь. И впереди уже ничего не осталось…

– А вот мы сейчас посмотрим! – засмеялся Гавр.

Он подошёл к Часам Будущего и решительно взялся за рычаг.

– Не надо! – испуганно вскрикнула Нуш.

– Почему? – улыбнулся Гавр. – Чего ты боишься? Вот увидишь: у нас впереди ещё целая жизнь! Всё только начинается!

И он нажал на рычаг, поворачивающий стрелки. Но… стрелки не шевельнулись. Гавр ободряюще улыбнулся Нуш.

– Они просто заржавели, – сказал он. – Но мы их сдвинем. Хотя бы на чуть-чуть! И ты увидишь: у нас всё будет хорошо!

Гавр со всей силой налег на рычаг. Он был уверен: будущее приоткроет им хотя бы одно маленькое окошко, даст им заглянуть хоть в щелочку.

– Помоги мне, – попросил он Нуш. – Мы должны сдвинуть их с мертвой точки!

Они налегли на рычаг вместе, как на тяжёлое весло. Но стрелки оставались недвижимы.

– Всё равно мы их победим! – с весёлым упрямством сказал Гавр.

Они вылезли на крышу и пошли, держась за руки, по узкому карнизу вокруг башни.

– Смотри, Лёвушка сегодня грустный, – сказала Нуш.

– Тебе показалось, – сказал Гавр. – Когда ты грустишь, тебе кажется, что все вокруг грустные.

– Смотри, как он укоризненно смотрит на нас, – сказала Нуш.

Гавр в ответ засмеялся.

– Держись крепче за мою руку, – сказал он.

Они были уже у самого циферблата Часов Будущего.

Часовая стрелка была ростом с Нуш. Минутная ростом с Гавра.

– Не надо, милый, – попросила Нуш.

– Но я хочу что-нибудь сделать для тебя. Хочу, чтобы ты увидела…

Он нажал на конец большой стрелки. И вдруг – что-то хрустнуло. Что-то сломалось внутри безмолвных часов. Гавр и Нуш даже ахнуть не успели, как обе стрелки, минутная и часовая, как два весла, выпущенные из рук, отвалились от циферблата и стали медленно падать вниз. Они падали, рассекая горячий вечерний воздух, на пыльную мостовую, падали медленно и долго, как во сне, а Гавр и Нуш, как завороженные, следили за их беззвучным падением…

* * *

Пронзительно кричат стрижи в высоком июньском небе. Мы стоим на площади, запрокинув головы, и смотрим на крышу.

– А что потом? – нетерпеливо спрашиваешь ты.

– Что потом?… Потом пошёл снег. Чья-то рука навесила на дверях их башенки огромный замок. Путь на крышу был закрыт. Будущее так и не выдало им своей тайны.

– А почему на остальных часах нет стрелок? – удивляешься ты.

– Да, действительно… Ни на одном из циферблатов…

– А где же у этой сказки конец? – допытываешься ты.

"Будет ли он?" – с грустью думаю я и не отвечаю на твой вопрос.

Будет ли?…

Глава 10
Апрельская бабочка

Март… И вновь накатывает прошлое, и кажется, что нет сил пережить эти дни. Каждый – памятен, с каждым из них что-то связано: то день встречи, то день его рождения, то день памятного, такого важного и незабытого разговора…

Нынешний март – не легче предыдущих. Ты чувствуешь, что со мной творится что-то неладное.

– Ты почему плачешь? – спрашиваешь ты, пристально глядя на меня.

– Я не плачу, сынок.

– Я же вижу: у тебя глаза грустные. Ты почему плачешь?

– Да вот видишь: на улице солнышко, а мы простужены, не можем пойти погулять.

На минуту задумался, помолчал. И убежденно сказал:

– От этого не плачут. А *на самом деле* ты почему грустная?

– А на самом деле, Антоша… Ну, как тебе объяснить?…

– Скажи, я пойму. Я всё пойму!

Ты смотришь на меня своими тёмно-золотистыми, почти чёрными глазами, смотришь вопросительно и настойчиво. Тебе непривычно, что я ухожу от ответа. Между нами никогда не было недоговоренности, я всегда отвечала на твои вопросы. Но тебе всего четыре года, и как объяснить тебе, что значит прошлое? И почему мне так трудно пережить март…

Ты смотришь на меня не по-детски напряжённо.

– Я всё пойму, – говоришь ты. ("Не надо грустить в одиночку", – слышится мне.)

– Понимаешь, милый, – говорю я. – Сегодня – день рождения нашего Клоуна…

Ты быстро взглядываешь на старую, пожелтевшую афишу, которая висит у нас в комнате и которую ты помнишь с раннего детства: по этой афише ты учился читать. Потом, когда ты подрос, мы с тобой не раз говорили о нашем Клоуне. Наш Клоун жил вместе с нами. Для тебя, так же, как и для меня, он был живым, близким человеком. Ты даже позволял себе порой шутить в его адрес. Мог, например, взглянув на афишу, сострить: "Засушенный артист Армянской ССР!" И, глядя на нас с афиши, наш Клоун смеялся вместе с нами над твоим каламбуром…

– Сегодня ему исполнилось бы сорок пять лет, – говорю я.

– А *так* сколько?

– А так – навсегда тридцать семь…

– Он умер от болезни?

– От болезни.

– У него была очень высокая температура?

– Нет. У него болело сердце. Он очень много работал, и сердце не выдержало.

Я чувствую, что мне легче от твоих участливых вопросов, оттого, что я могу поговорить с тобой о том…

– И поэтому ты грустная?

– Поэтому я грустная.

Ты задумываешься. Лицо у тебя взрослое, сосредоточенное.

– Да… – говоришь ты и вздыхаешь. – Ведь афиша – не живой человек…

И у меня ком к горлу подкатывает от этого недетского вздоха: ты всё понимаешь! И не просто понимаешь. Ты подставляешь свое хрупкое плечико под тяжесть, которую я столько лет несла одна. Ты пробуешь, ты хочешь разделить её со мной. И ты действительно облегчаешь мне ношу.

Март… Живу как будто в двух измерениях: март сегодняшний и март десятилетней давности звучат во мне с одинаковой силой. Но порою тот, давний, заглушает сегодняшний…

Я постоянно чувствую на себе твой внимательный, встревоженный взгляд: так обычно взрослый тревожится о захандрившем ребёнке…

– Ты почему грустная? – то и дело спрашиваешь ты и ласкаешься ко мне, без конца объясняясь в любви.

По утрам ты просыпаешься раньше меня. Точнее – мы просыпаемся одновременно, но я не сразу открываю глаза, в надежде, что ты полежишь тихо, а то и вздремнешь ещё. Эти минуты утренней сосредоточенности очень необходимы мне.

– Мамочка, ты почему грустная?… – тихий, вкрадчивый голос.

– Откуда ты знаешь? Я ведь ещё и глаза не открыла.

– Я же вижу. У тебя лицо грустное…

Нет, не спрятаться мне от твоего всевидящего ока!

Твоя проницательность в конце концов начала мучить меня. И я сделала усилие над собой – и стала улыбаться…

Читаю толстую рукопись, которую мне нужно отрецензировать.

– Четыреста страниц!… – восхищаешься ты. – Такой большой писатель! – говоришь ты с уважением.

В эти дни к нам собирался зайти в гости мой старый друг,

"наш Путешественник" – так мы его зовем. Только что мы прочли его книгу "Древние и новые дороги Туркмении", и теперь с нетерпением ждем его.

– Почему же наш Путешественник не идёт к нам? – изнемогаешь ты от ожидания. – Мама, а давай мы тоже будем путешествовать!

– Давай. Вот подрастешь – и начнём путешествовать.

– Знаешь что? – воодушевляешься ты. – Мы будем путешествовать всю жизнь! Хочешь?

– Хочу. Это прекрасно – путешествовать! У нас так много всего впереди…

Ждешь, ждешь Путешественника, а тот всё не идёт: симпозиум у него. Ты от долгого ожидания заскучал.

– Почему к нам никто не приходит? Почему с нами никто не живет?

– Тебе скучно, Антонушка?

– Не скучно. Но всё равно: почему никто к нам не приходит?

– Придёт, сынок, скоро придёт.

И пришёл. Но не Путешественник, а автор толстой рукописи – бывший архитектор. Сначала всё было прекрасно: ты и бывший архитектор собирали на ковре разборный домик и вовсю общались. Но когда пришло время поговорить нам о рукописи нашего гостя, и он отвлекся от игры с тобой для делового разговора, – ты взбунтовался. Ты хватал меня за руки и пытался утащить на другой конец комнаты.

– Что ты делаешь, Антон?!

– Отдираю тебя от говорения!

Потом ты посрывал со стен и повыдергивал из ваз засохшие летние венки и букеты и стал их неистово потрошить, рассыпать по всему дому, закидывать меня и нашего гостя. Гость с недоумением, почти с испугом смотрел на тебя: какая муха тебя укусила? Но я-то понимала, что это – ревность… Тебе кажется: я ухожу от тебя.

Потом ты скрылся на кухне и стал ожесточенно, с вызовом стучать на пишущей машинке.

Когда четырёхсотстраничный писатель ушёл, я заглянула в листик, оставленный в машинке, и прочла стихотворение, которое написал мой сын, истерзанный ревностью и тоской:

Стих про декабрь и январь

Здесь белый холод,
белый лёд!
Вот этот фонтос красный…

Это декабрь
это январь
зелёный, синий, красный!!!
Не трогайте его
Не трогайте его
Ну только
ОСТОРОЖНО.

Ты уселся в кресло-качалку, точнее, улегся в нём, свернувшись калачиком, и тихонечко запел: "Здесь белый холод… Белый лёд…" Пел протяжно и очень жалостно, и вид у тебя был совершенно несчастный.

Мучительно жаль тебя. И не знаю, как тебя утешить?…

– Антонушка, сынок, я люблю тебя! Слышишь?

– Слышу, – отвечаешь безучастно.

– Что с тобой? Ты не заболел?

– Нет, я здоров.

– Тогда почему ты такой грустный? – спрашиваю я и невесело усмехаюсь: мы с тобой поменялись ролями, теперь я тебе задаю этот вопрос.

– Не знаю… – отвечаешь ты еле слышно.

Просто ты взрослеешь, сынок. Маета и тревога взрослой жизни уже стучатся в твой детский волшебный мир. Врываются в него, застают тебя врасплох среди твоих игр. Ты впадаешь то в тоску, то в раздражение. Первый переломный возраст. Сколько их ещё впереди?…

– Ты говорил, что к нам никто не приходит. А вот пришёл гость, играл с тобой.

– От него я и стал грустный, – сухо отвечает маленький ревнивец.

– Но ты пойми, он не мог быть только с тобой, ведь он пришёл по делу.

– Я понимаю…

И опять затянул свою грустную песню. За окном – солнышко, март на исходе, воробьи вовсю расчирикались, скачут по перилам лоджии, как танцовщицы по проволоке, а ты поешь про белый ледяной холод, который обнял твоё маленькое, мятущееся, не понимающее себя сердце… И чем помочь тебе? Как утешить? Как объяснить тебе, что ты просто взрослеешь, а взрослеть – трудно, взрослеть – не просто…

Только на прогулке ты немного развеялся и повеселел.

Нашли протаявшую полянку с зелёными усиками

младенческой травы, пробивающейся сквозь чёрное, прелое одеяло прошлогодней листвы. По тёплой, нагретой солнцем крышке колодца бегали муравьи.

– Антоша, смотри, муравьи проснулись! В марте!

От зрелища их весенней суеты стало весело.

Но вернулись домой. И весёлость с тебя как рукой сняло.

– Как мы хорошо погуляли! – говорю тебе.

– Хорошо, – вяло соглашаешься ты.

– Почему же ты опять грустный?

– Я не грустный. Просто я задумчивый… Как же мне не быть задумчивым? Как же мне не задуматься обо всём?! – в голосе твоём слышится почти вызов, почти отчаянье.

– О чем же ты думаешь?

– Обо всём… – ты неопределённо машешь рукой.

Да, ты взрослеешь… Тебя мучат вопросы, которые ты ещё не можешь задать мне. Ты часто грустишь, то плачешь, то впадаешь в сосредоточенное молчание. Твои настроения меняются резко и всегда неожиданно: весёлость вдруг сменяется беспричинными слезами, слезы – буйным весельем или тихой, нежной мечтательностью, ласковое урчание – неожиданным раздражением и – опять слезами… Все эти взрывы и перепады, предугадать которые невозможно, как и подготовиться к ним, – держат нас с тобой в постоянном напряжении. Кажется порой, что мы бежим по заколдованному кругу, из которого нет выхода.

Сегодня – один из таких трудных дней. За обедом, после чудесной прогулки, ты вдруг разрыдался. С трудом успокоила тебя. Уложила спать. Ты спал долго, но проснулся хмурый, раздражённый, сон не освежил и не взбодрил тебя. Сидишь в постели, нахохлившись.

– Антоша, одевайся, – говорю я тебе как можно бодрее.

– А зачем? – спрашиваешь ты, и твой унылый тон не предвещает ничего хорошего.

– Чай будем пить, – бодро говорю я.

– А зачем?

– Гулять потом пойдем.

– А зачем?…

И так – без конца: "Зачем зубы чистить?", "Зачем руки мылом мыть?", "Зачем есть эту кашу?", "Зачем пить это молоко? Ну, зачем?!"

Проходят пять минут, десять. Ты – всё в той же позе нахохленного воробья.

– Почему ты не одеваешься, сынок?

– Не могу, – говоришь ты. – Не умею.

– Утром умел, вчера умел, а сейчас не умеешь?

– Не могу, – упрямо повторяешь ты.

Я чувствую закипающее раздражение и выхожу из комнаты. Пытаюсь что-то делать, как-то успокоиться, но всё валится из рук. Вскоре из комнаты доносится тихий жалобный плач. Нет, ни за что, говорю я себе, нельзя потакать твоим капризам. Плач нарастает. В нём слышится жалоба, призыв, мольба. Не выдерживаю. Захожу в комнату. Мокрое, зарёванное лицо. Пытаюсь шутить. Пытаюсь уговорить. В ответ – всё то же упрямое, отчаянное: "Не могу!… Не умею!… Никогда сам не одевался!…" Впору самой заплакать от усталости и беспомощности. В отчаянье выбегаю из комнаты, крикнув тебе: "Сиди, сколько хочешь! Я тебя одевать не буду!"

Господи, неужели теперь навсегда так?… Неужели к нам никогда не вернется наша прежняя жизнь? Наши тихие и ясные дни, когда мы с полуслова понимали друг друга, дни, полные радости и ласковых слов, где вы? Где они?… Неужели это теперь навсегда – непонимание и усталость, и горькая беспомощность?… Хочется поступить вопреки всем педагогическим советам: хочется приласкать, одеть, взять тебя на колени, успокоить… Мне так жаль тебя. В твоём плаче я слышу не каприз, а отчаянье и безысходность…

Тогда я выдержала характер и не вошла к тебе, и не взяла тебя на колени. "Главное – не потакать капризам", – висело надо мной, как дамоклов меч. До сих пор не могу простить себе своей слабости, своей боязни пойти против правил.

Да, пусть это был твой каприз, пусть бессмысленное на первый взгляд упрямство, но кто знает, кто сможет объяснить, что стояло за этим капризом, за этим упрямством? Что заставляло тебя бунтовать против привычного, естественного хода вещей, против меня, против самого себя? Какое смятение сотрясало тебя, заливало твоё лицо слезами?… Я была не в силах понять тебя, а ты – не в силах помочь мне. Я боялась пойти на поводу твоего каприза и совершала при этом ошибку гораздо более грубую и жестокую, оставив тебя наедине с собой, в одиночестве, предоставив тебя самому себе, вернее – тому, что было сильнее тебя, что терзало тебя изнутри, и справиться с чем без моей помощи ты не мог. Но тогда я ещё не понимала этого, я только училась понимать, и некому было мне подсказать…

Тебе было плохо, трудно, – а я покинула тебя, и ты остался один-одинешенек в целом мире. И хотя я была рядом, за стеной – но для тебя словно на другой планете…

…Потом я вошла к тебе. Ты уже не плакал, только судорожно вздыхал. Опухшее от слез лицо… мокрая от слез и соплей

рубашка. Несчастный, измученный взгляд. Стыд и раскаянье терзали меня.

– Одеваться? – спросил ты и судорожно вздохнул.

– Поздно уже… пора спать укладываться.

– А чай пить?… – губы твои опять задрожали.

– Но ты же не хочешь, наверное?

– Почему? – удивился ты. – Хочу.

…А вскоре ты уже обнимал меня за шею горячими ласковыми руками и говорил доверительно:

– Я сам не знаю, как у меня это получается. Не хочу ссориться – а получается…

– И ты меня, сынок, прости! Прости, слышишь? Я больше так не буду…

Кольцо горячих рук сжимается вокруг моей шеи ещё крепче…

В руках у тебя игрушка – старик Хоттабыч.

– Зачем ему такая длинная борода? – спрашиваешь ты.

– Это борода волшебная. Выдернет Хоттабыч волосок, скажет желание – и оно тут же исполнится.

– Ну, какое, например? – недоверчиво спрашиваешь ты.

– Ну, например… Например, он скажет: "Пусть мама и Антон никогда больше не ссорятся!" И мы не будем ссориться.

Ты подумал, подумал и твердо сказал:

– Нет. Хоттабыч не мог так сказать.

– Почему?

– Это мы *сами* должны решить, что не будем больше ссориться.

И я подивилась и порадовалась твоим словам. Хотя тебе было всего четыре года, но между сказочным фокусом и победой, завоеванной ценой собственных усилий, – ты выбрал последнее.

– Мама, слушай, я тебе песню спою, – говоришь ты вечером, когда я укладываю тебя спать. И заводишь своё бесконечное:

Не ложись в двадцать четыре часа спать,
А ложись в двадцать три,
А ложись в двадцать два,
А ещё лучше – ложись в двадцать один,
Вместе со мной будешь спать!…
Не ложись в двадцать четыре часа спать,
Не ложись в один час,
Не ложись в два часа ночи
И утром тоже не ложись,

А лучше ложись в двадцать два…

– Антошка, ты мне мешаешь работать.

– Я о тебе забочусь. Это – "Колыбельная для мамы".

И так будешь петь хоть целый час! А мне приходится работать под эту шарманку. Но сегодня не выдержала: уж так ты меня призывал!

– Иди ко мне, погрей меня, а то я замерз, – просишь ты.

Я забираюсь к тебе под одеяло, нащупываю холодные пятки. Ты крепко обхватываешь меня за шею:

– Всё! Никуда не отпущу! Будешь теперь спать!

– Ну, как, согрелся?

– Согрелся… Ты у меня такая тёплая – как май!

Смеемся.

– Мама, а как это всё сделалось: земля, солнце, звёзды?…

– Дело в том, сынок, что всё это сделалось очень-очень давно, миллиарды лет тому назад. Людей тогда ещё не было. Поэтому они не видели и никогда не узнают, как это всё сделалось…

Задумался надолго, я даже подумала, что ты уснул. А потом сказал рассудительно, как старичок:

– И люди думают, что так всегда и было. Сделалось так давно, что как будто никогда и не делалось…

И опять ты задумчивый. Раздражаешься, если я вольно или невольно вывожу тебя из этого состояния. Прямо вскипаешь весь и чуть не плачешь:

– Нет, ничего не говори! Не говори! Ты мне мешаешь думать!

– Теперь ты понимаешь, как мне бывает трудно, когда ты мне мешаешь думать и работать?

– Замолчи, замолчи сейчас же! Ты что, русского языка не понимаешь? На каком тебе говорить?

Мне и обидно и смешно одновременно: это же те самые выражения, которые порой вырываются из меня, когда я сижу за машинкой, а ты не даешь мне сосредоточиться.

Готовлю ужин и тихонько напеваю.

– Не пой! – сердито говоришь ты.

– Почему?

– Ты мне мешаешь думать. Никогда не пой.

– А если я всё-таки буду? Ну, совсем тихонько.

Понимаешь, у меня сегодня такое хорошее настроение, что я не могу не петь.

– Как начишь петь, так я начу мешать!

Но через пару дней ты вышел из своей угрюмой задумчивости и повеселел. Сам теперь понимаешь, что был несправедлив ко мне, и делаешь самокритичное заключение:

– Мама, а ты чувствуешь, что у тебя мальчик третьего сорта?

– Чувствую.

И мы оба с облегчением смеемся.

Вечером, в постели, мурлычешь ласково:

– Знаешь что, мамочка?

– Что?

– Я так думаю: никакая бы любовь не получилась, если бы тебя у меня не было. Никакой бы поцелуй, никакой жевуземчик…

– И у меня без тебя. Тоже ничего не получилось бы…

Я работаю, а ты вытащил из стола ящик с письмами и закидал ими всю комнату.

– Антоша, что ты наделал?

– Это – почтальонство!

Потом взял листок бумаги и что-то быстро-быстро написал. Протягиваешь мне:

– Вот тебе письмо! Можешь больше не бегать к почтовому ящику.

Я развернула бумажку и прочла милые печатные каракули:

"Дарагая мамочка Позровляю тебя с 13 апреля цэлую твой сынок Антон".

– Спасибо, сынок. Больше не буду бегать к почтовому ящику.

Слушаешь "Песню о Лёньке Королёве". Сосредоточенный, неподвижный взгляд, оцепеневшая поза.

Ты любишь Лёньку и всякий раз тяжело переживаешь его гибель. Вслушиваешься в каждое слово песни. Есть там такие строки:

Все ребята уважали
очень Лёньку Королёва
И присвоили ему званье короля.

– Почему "уважали"? – недоумеваешь ты. – А теперь уже не уважают?

– Но ведь Лёньку убили на войне. Осталась только песня о нём…

– Убили?… *Кто* убил? Что такое "война"?

И хотя уже много раз я объясняла тебе, что такое война, и кто убил Лёньку, но ты опять заводишь разговор о том же, как будто

надеешься: а вдруг *на этот раз* судьба Лёньки сложится по-иному? Никак не можешь смириться с Лёнькиной смертью. И всё думаешь, думаешь об этом… И пришёл вот к такому грустному выводу:

– Зачем же вообще рождаются хорошие люди? Чтобы их потом всё равно плохие убили?

Это было сказано с недетской горечью и тоской. Я попыталась разубедить тебя, объяснить, что на самом деле всё не совсем так, но развеять твою горькую думу мне всё же не удалось. Ты играл, смеялся, болтал на самые разные темы, но думал, как оказалось, всё о том же. Через несколько дней ты спросил:

– Мама, а как из убитого человека сделать неубитого?

Ты застал меня своим вопросом врасплох, и я засуетилась со словами, запуталась. А потом сказала твердо и убежденно:

– Нужно очень сильно любить этого человека и верить в то, что он живой. Вот и всё, Антоша.

И ты поверил мне. И успокоился.

Удивительно весенний день. Пошли на Речной вокзал – на пристань. Там ржавые сугробы по колено, ослепительно синие лужи, не лужи – моря! С тысячью раздробленных солнц… Запах туи – тёплый, совсем летний. Кучевые – июньские! – облака в синем, васильковом небе…

На вокзале – ремонт, пахнет свежими досками, краской, пахнет весенним преображением!

По белому пространству водохранилища походил ледокол и разрезал застывшую, залежавшуюся тишину льда на огромные ломти. Между ломтями темнеет мутная, ещё не проснувшаяся вода. От неё потягивает ледяным сквозняком. Мы сидим на раскачивающихся толстых цепях у самого берега. Нас обдувает сквознячком и обласкивает солнышком. Нигде ни души. Только слышатся голоса рабочих на строительных лесах, да голоса матросов на маленьком катерке с забавным именем – "Уникум". "Уникум" уже навострил киль на большое плаванье и нетерпеливо попыхивает свежевыкрашенной трубой…

По высоким, длинным каменным лестницам бегут сверкающие водопады… Косогоры уже рыжеют проталинами прошлогодней травы. Мы пошли наверх по этим лестницам-водопадам – и вдруг увидели: с косогора, с солнечного припека поднялась и помахала нам немного смятыми за зиму крылышками Первая Бабочка!

– Бабочка! Бабочка!… – закричали мы с тобой в один голос. Она летала над ржавчиной косогора и сугробов, и сама как будто ржавая – но такая милая, такая живая!

И мы побежали на вокзал, к телефону-автомату, нам хотелось поскорее рассказать кому-нибудь про эту сумасшедшую бабочку. Но наш Путешественник уехал в Кара-Кумы, наш

Художник путешествовал с этюдником по Крыму. Немного поколебавшись, я набрала номер весёлого Философа. "Это тот, который на Крыше, да?" Но там никто не подошёл… А больше звонить было некому.

…Потом мы сидели на тёплой скамье, совершенно разморенные. Ты улегся мне на колени головой, тебя клонило в сон.

– Пойдем, Антончик, домой, а то ты заснешь здесь.

– Не могу идти… нет сил. Я постарел… – промурлыкал ты, приоткрыв один смеющийся глаз.

К нам на скамью подсела пара – парень и девушка. Он – невероятно заросший: баки, усы, борода, челка до бровей, лохматые брови…Ты принялся с любопытством рассматривать соседа и сказал почти с восхищением:

– Какой старенький дедушка!

– Ну, что ты, мальчик! Я ещё и папой не успел стать, а ты уж меня в дедушки записал!

– Тогда почему у тебя семь бород?

Мы все посмеялись.

И все стояли, не двигаясь, над тёмными парковыми елями кучевые облака – как будто там, в вышине, было другое время года. И пахло туей – как тринадцать лет назад, у моря… От этого запаха щемило сердце, но на этот раз уже не так больно. Наверное, потому, что на коленях у меня лежал и щурился от солнца мой мальчик, мой славный дружок.

Жаль только, что некому рассказать про бабочку…

А ночью была метель. И весь следующий день мело, не переставая… Всё замело: и синие лужи, и ржавчину проталин, и строительные леса, и весёлую трубу "Уникума". Замело и нашу милую бабочку…

Ты плакал. То ли из-за бабочки, то ли из-за чего-то другого, но объяснить не умел.

И на второй день мело, и на третий… Казалось, не будет этому конца.

…А потом мне приснился сон. Как будто мы с тобой пришли на тот косогор и ищем бабочку – под каждым сухим листом, под каждой травинкой. Но её нет, нет нигде. И день тусклый, серый… Какие тут могут быть бабочки? Я оглядываюсь, ища тебя взглядом, ты отстал от меня, и вдруг – вижу Ее! Огромная живая

бабочка присела рядом со мной. И совсем она не ржавая, а коричнево-золотистая, цвета каштановых осенних листьев!… Она такая огромная, почти исполинская, что я кажусь себе рядом с ней дюймовочкой. Так вот почему мы не могли найти её! Мы-то искали маленькую…

Меня разбудило солнце. Ослепительной лавиной вливалось оно в окно… "А ведь бабочка-то живая! – подумала я. – И всё ещё только начинается…"

Глава 11
Ещё одна осень. Мальчик с планеты Маль

Была осень. Наша пятая осень. Тёплое, полное ещё летних запахов и птичьего щебета, утро начала сентября. В это утро я взяла тебя за руку, и мы пошли в детский сад.

– Вот и начинается новая жизнь, – философично заметил ты.

Ты шёл бодро, твоё лицо сияло оживлением и любопытством.

Действительно, совсем новая жизнь. Совершенно не похожая на всю предыдущую. До сегодняшнего дня мы с тобой не расставались. Ни на один день. Лишь на считанные часы. И эти коротенькие разлуки всегда были мучительны для меня. Тебе-то ничего, ты или спал, или читал, не замечая минут и часов…

А когда ты был совсем маленьким, я, уходя, ставила на проигрыватель долгоиграющую пластинку. Чаще всего лютневую музыку, твою любимую. И, пока она звучала, наполняя пространство вокруг тебя золотым осенним сиянием, пока осыпалась вокруг тебя, звеня, золотая листва, ты сидел в своем деревянном манеже, забыв об игрушках, погрузившись то ли в грезы, то ли в воспоминания… Пластинка доигрывала до конца, и ты терпеливо ждал, когда я войду в комнату и поставлю ее вновь. Чтобы не скучать, названивал сам себе погремушкой, была у тебя такая чудесная синяя погремушка, с нежным-нежным звоном. Порой, устав от ожидания, валился в манеже на бочок и засыпал с погремушкой в руке… Да, проигрыватель был прекрасной нянькой.

Потом, когда ты научился ходить, а вскорости и читать (всего полгода разделяют эти два события), тогда роль няньки взяла на себя пишущая машинка, наша старенькая «Олимпия». Не замечая времени и моего отсутствия, ты мог часами выстукивать на ней свои странные, удивительные рассказы и стихи…

Две твои няньки все эти годы соперничали друг с другом.

Но всё равно я всегда сходила с ума, оставляя тебя одного: мало ли что… В издательстве, куда я заезжала несколько раз в месяц, чтобы захватить оставленные для меня рукописи, внезапно накатывал страх, жгучая тревога: «Господи, как я могла оставить тебя одного?! А вдруг…»

Обратно – не просто бегом, обратно – сломя голову. Скорее, скорее! Больше никогда не оставлю тебя одного! Чтобы так изнывать от предчувствий, от ужасов, которые рисует

разгулявшееся, не знающее удержу воображение… По лестницам – бегом, по эскалаторам – бегом, от троллейбуса к дому – бегом… В лифте – самые мучительные мгновения. На грани обморока. Сердце колотится в каждой клетке тела. Поворот ключа в замочной скважине…

– А вот и мамася пришла! – радостный голосок мне навстречу. Горячее кольцо тонких рук вокруг моей шеи. Всё… можно жить дальше.

– Не скучал без меня? – целую тебя в тёплый, пушистый затылок.

– Зачем скучать? – удивляешься ты. – Я стишок настукал.

Хочешь, покажу?

– Покажи.

Ты говоришь, говоришь… А я понимаю только одно: ты жив, здоров, с тобой ничего не случилось. «С тобой и не могло ничего случиться», – говорю я себе.

…Только бы слышать твой весёленький голосок. Так мало, в сущности, надо. Так много…

– Начинается новая жизнь, – говоришь ты, и в голосе твоём слышится спокойная деловитость взрослого человека, человека четырех с половиной лет. Человека, который умеет не скучать и не плакать в одиночестве. Человека, которому предстоит теперь научиться не скучать и не плакать среди людей.

…Воспитательница, молоденькая и голубоглазая, взяла тебя за руку и увела в группу. Ты рассеянно оглянулся на меня, ты ещё не знал, стоит ли огорчаться по поводу нашей разлуки. Вокруг тебя галдела десятками голосов новая, незнакомая жизнь. Я видела, как ты невольно съежился, оказавшись в её водовороте. Воспитательница вскоре ушла, предоставив тебя самому себе. Ты ещё раз оглянулся на меня, в твоём взгляде была растерянность и оглушённость. Я ободряюще улыбнулась и помахала тебе рукой. Ты в ответ рассеянно взмахнул ладошкой…

Вышла на улицу и… растерялась не меньше, чем ты. Куда идти? Чем занять себя до вечера? Дома ждала работа: недочитанная рукопись, незаконченная рецензия. Но дома – без тебя – было нестерпимо тихо и пусто.

Постояв с минуту в странной, непривычной тишине комнаты, я опять вышла на улицу. Впервые за четыре с половиной года я никуда не спешила, не бежала. Весь долгий день, до самого вечера, был в моём распоряжении.

Этот день я промаялась по Москве, сама не своя – оглушенная

свободой, не зная, что мне теперь с ней делать…

Вечером, когда я пришла за тобой, ты носился по двору детсада очень возбужденный. Выяснилось: весь день тебя водили по всем группам, и ты читал ребятам книжки, а воспитательницам и няням раздавал автографы. Мне показали эти листочки, на которых милым моему сердцу крупным размашистым почерком было написано: «Антон. 4 сентября 1980 года», наш адрес и – на обороте – птичка или цветочек.

Воспитательницы со всех групп обступили меня и стали выпытывать, по какой методе я тебя учила. Никак не хотели верить, что никакой особой методы у меня нет. Просто я всегда отвечаю на твои вопросы. Вот и вся метода. Всё просто… Классическое «подрастешь – узнаешь» – не для нас с тобой, это я поняла с тех самых пор, когда ты ещё только учился говорить.

Откуда твои вопросы? Откуда это жадное любопытство к миру? Твое ненасытное: «Ещё! Ещё!» Твое нетерпеливое: «А дальше?» Твое недетское: «Мне надо знать!»

Ты взрослеешь, вопросов становится всё больше, порой они застают меня врасплох, но вместе с тем крепнет моё убеждение: если ты задаешь мне *вопрос*, – твоя душа готова принять *ответ*. Не когда-нибудь, не потом – сейчас. И я стараюсь отвечать тебе, не откладывая на потом. Отвечаю, как ответила бы самой себе: не упрощая и не приукрашивая. Порой мне кажется, что ты не совсем понимаешь меня. Но тебя это не смущает. «Я пойму, – говоришь ты. – Я *потом* пойму. Ты только рассказывай. Пожалуйста!»

А потом ходишь молчаливый, задумчивый, сосредоточенный. «О чем ты, сынок?» – окликну я тебя. «Я думаю…»

«Откуда взялась жизнь? Планеты, звёзды, галактики…»

«А я у тебя откуда взялся? А у тебя мог родиться другой мальчик?»

«А это обязательно – становиться взрослым?»

«А как получается любовь? Из чего она образуется, из каких таких веществ?…»

«Что такое *бог*? Вот тут в книжке написано: “Не боится никого, кроме *бога* одного"».

«А когда мне будет сто лет, тебе сколько тогда будет? Почему уже нисколько?»

«Почему человек умирает?…»

«А хочешь, мы всегда в Самболюнии будем жить, на планете Маль? Там люди до сколька хотят, до столька и живут. Я скоро сделаю летающие часы, и мы с тобой туда полетим. Хочешь?»

«А можно выучить все звёзды, все деревья, все цветы? И все

горы, и все вулканы… Почему нельзя? А вдруг можно?…»

Не всегда я могу ответить на твой вопрос. И тогда мы ищем ответ вместе. Тогда мы думаем *про это* вместе. Про травы и про звёзды. Про вечность. Про старость и про смерть. И про любовь, которая сильнее смерти…

Откуда твои вопросы? Что тебя побуждает задавать их, что тебя подталкивает к этим жгучим тайнам?…

Твое хрупкое, слабое здоровье, болезни, которые без конца одолевают тебя, держат тебя постоянно на грани. На грани между жизнью и вечностью. Точно так же и взрослый человек, заболев, начинает думать о важных, о главных вещах, приближаясь если не к разгадке, то хотя бы к вопросу о смысле своего существования и вообще – жизни. Так же и ты постоянно находишься в напряжении этих вопросов. Вечность, из которой ты пришёл, не отходит от тебя далеко. Она словно бы держит тебя за руку. За одну руку – я, за другую – она…

Я всегда чувствую её присутствие в нашей жизни. Даже в минуты полного и, казалось бы, безмятежного счастья, когда ты здоров, весел, и в тебе просыпается маленький клоун, даже в эти счастливые минуты ощущение того, что *она* здесь, рядом, где-то совсем близко, не покидает меня.

Нет, её присутствие не омрачает нашего счастья, оно лишь обостряет его.

Вместе с тобой удивляюсь. Вместе с тобой ищу ответы на вопросы. Вместе с тобой радуюсь буквам и числам, снегу и звёздам… Никакого секрета нет. Всё просто…

Просто я забыла, сколько мне лет. Я помню, ощущаю только твой – наш! – возраст. И каждый день учусь. С тобой. У тебя. Учусь радости. Учусь удивлению. Когда ты показываешь на какую-нибудь безымянную (но ведь не безымянную на самом деле!) травинку и спрашиваешь: «Как её зовут?» – меня всякий раз поражает глубокое изумление: как же это я жила до сих пор, не зная её имени? Как я могла жить, не зная, как её зовут? Что это у меня была прежде за жизнь?…

Сколько прекрасных имен узнали мы с тобой! Подорожник, пастушья сумка, клевер, донник, лебеда… А раньше было: просто трава под ногами…

Вспышка-воспоминание. Лето. Июнь. Мы гуляем по зелёному, сверкающему после дождя скверу. И слышим такой диалог:

– Мама, что это?! – восклицает, почти вскрикивает девочка лет шести, зачарованно глядя на прекрасные белые соцветия среди тёмно-зелёной листвы. – Мама, что это?!

– Дерево, – отвечает мама.

И такая скука, такая серая обыденность в её голосе, что ты не

выдерживаешь:

– Каштан! Каштанчик!… – кричишь ты, захлёбываясь восторгом, радостью, ликованием. – Это же *каштанчик*!…

Тебе два с половиной года. Для тебя дерево – уже не просто дерево, ты знаешь по именам все деревья в нашем сквере, всех зелёных жителей нашего маленького цветущего мира…

Иногда я вспоминаю ту девочку в сквере, и мне её очень жаль. Очень, очень скоро она разучится задавать вопросы… И когда-нибудь, через много лет она с таким же безразличием ответит своему ребёнку: «Просто дерево».

Только рядом с тем, кто умеет радоваться, у ребёнка радостно распахиваются глаза; только рядом с тем, кто умеет удивляться, ребёнок с такой лёгкостью и жадностью узнаёт и запоминает, и делает *своими* имена звёзд и трав, зверей и чисел, птиц и цветов. Всё легко и просто, когда ты счастлив. Когда утро – в радость, и вечер – в радость, и дождик, и красный куст боярышника, и птица за окном, и звезда…

Я учусь радости. Учусь удивлению. Учусь быть твоей мамой. Твоим другом. Твоей подружкой.

Ничего этого я не сказала воспитательницам, обступившим меня и ждущим от меня какого-то ясного, простого ответа. Что я могла ответить им? Для этого мне нужно было бы рассказать им всю нашу жизнь – с того самого дня, когда я принесла тебя, крошечного, больного, домой. И была стужа – за окном и в доме, и в доме тоже… И нас было двое во всём мире. Ты да я, да мы с тобой… Но я сказала тебе: «Всё равно мы будем счастливы. Несмотря ни на что!…»

– Никакой особой методы у меня нет. Просто я всегда отвечаю на его вопросы. А мой сын очень любознательный мальчик.

– Скажите, а как вы учили его читать? Каким наглядным материалом вы пользовались?

Антон, ты помнишь, каким наглядным материалом мы с тобой пользовались?

Ну, прежде всего – макароны, которые ты без конца таскал из шкафа, разламывал на отрезки разной длины и выкладывал из них буквы. В ход шли также пуговицы, камушки, листики, принесенные с прогулки, пластмассовые гайки из конструктора, винтики из игрушечных часов… Одним словом, всё, что попадало под руку.

Была у нас, конечно, азбука на кубиках, был набор пластмассовых букв, но ты любил делать буквы сам, своими руками. Часами мог выкладывать свои любимые «буки» на нашем большом столе, используя для этого самые неожиданные

предметы. Например, половник мог играть роль вопросительного знака, яблоко в этой игре становилось буквой «о», горошина чёрного перца точкой. Ты высматривал, ты как бы выуживал буквы из пространства, из окружающего тебя мира предметов и вещей…

Всё, что попадало в поле нашего зрения – становилось для нас наглядным материалом. «Это дерево – какая буква?» – «У!» – радостно выкрикивал ты. «А этот фонарь – какая буква?» – «Г!»

…Услышав про макароны и фонари, воспитательницы почему-то расстроились, почти обиделись. Как ни странно, но обидело их, на мой взгляд, именно то, что всё оказалось действительно просто.

По дороге домой.

– Ну, как тебе в саду, Антончик?

– Так хорошо с детками гульнул!

Следующее утро. Пришли. Нянечка встретила тебя ласковой улыбкой:

– А вот и наш академик пришёл!

Воспитательницы, а их у тебя две: молоденькая и весёлая Любовь Петровна и средних лет мрачноватая и флегматичная Евдокия Васильевна, – с первых же дней переложили на тебя часть своих обязанностей. Они уже не читают ребятам книжки – это делаешь ты. Читаешь или просто что-нибудь рассказываешь. Воспитательница сажает тебя на стульчик перед всей группой и говорит:

– Расскажи нам что-нибудь, Антон.

Для воспитательницы наступает минута отдохновения, а для тебя – вдохновения.

Ты рассказываешь. О Мале. О Самболюнии. О Голофомэ…

– Давным-давно, с незапамятных времен, жила-была планета Маль. Сорок триллионов лет назад, даже больше, когда ещё не было Земли и Солнца, и светила одна Луна всему космосу, на планете Маль, ещё на которую не капало ни одной дождинки, стал пробиваться маленький фонтанчик. Но всё больше разрастался фонтанчик, всё больше воды было в пустыне. Фонтанчик развивался годами, месяцами, столетиями… Все обрадовались, что у них теперь океан!

Я прихожу за тобой пораньше, стою в раздевалке, смотрю на тебя в приоткрытую дверь и слушаю. Мне жаль прерывать твой вдохновенный рассказ.

– Самболюния – такая страна на планете Маль. Там много городов, очень древних и очень красивых. Мунт, Самбол,

Дерефан, Антованск,

Статуйск… Ещё есть Машинный город. И есть Деревный… Мунт – самый старый город. Ему царь-додоностопервый год. Он потому простоял так долго, что он был такой крепкий, что от землетрясений не ломался! Статуйск – это такой город, где живут статуи. Они умеют ходить, и ещё умеют говорить, и умеют по лестницам идти, и на лифтах кататься, и ещё умеют в квартирах жить!… А ещё там живет птица Голофомэ! Голофомэ – большая. Она прилетает зимой из Самбола в Мунт за миллионы километров. Она делает гнезда в старых липовых и дубовых деревьях или на старых мунтских домах – зимою, в холодные дни…

– Антон, а где это всё происходит? – спрашивает Любовь Петровна, оторвавшись от своих дел (пока ты занимаешь детей рассказами, она наводит порядок в шкафах с книжками и игрушками).

– На планете Маль, – терпеливо объясняешь ты. – Маль – это планета, на которой живут все мои фантазии…

– Антон, расскажи ещё! – слышится нетерпеливый девчачий голосок.

Итак, можно сказать, что в четыре с половиной года ты обрел кафедру.

А дома… дома ты работаешь в стиле «ретро». Бегаешь на четвереньках, лаешь, мяучишь, издаешь какие-то странные звуки.

– Антон, что с тобой?!

– А что? Все ребята в саду так делают. Очень весело! Давай вместе?

Но в саду веселиться таким образом ты стесняешься.

В саду, на прогулке, ты отыскиваешь прутик и начинаешь писать на песке цифры. Складываешь, вычитаешь… Вокруг тебя собирается кучка ребят, в основном, мальчики.

– Ты до скольки можешь досчитать?

– Я? До скольки угодно.

– До ста можешь?

– Могу.

– А до миллиона?

– И до миллиона.

Смотрят – кто с уважением, кто с завистью, кто с деланным равнодушием.

А после пяти, когда ребят начинают разбирать по домам, ты устраиваешься на веранде у «окошка» (так ты называешь дырку в кирпичной стене веранды) и начинаешь ждать…

– Ты сегодня шестая пришла! – сообщаешь ты мне.

Или:

– А ты сегодня первая!

Сидишь у «окошка» и, чтобы время скорее шло, пересчитываешь кирпичи веранды.

– Я сегодня до двух тысяч сорока пяти кирпичей насчитал. Ты почему так долго не приходила?…

Каждое утро одна и та же просьба:

– Приди за мной пораньше.

С каждым днём расставание всё болезненнее. Первые дни, когда превыше всего было любопытство к новой жизни, ты не плакал. Но уже на третий день начались слезы. Этот третий день пришёлся на понедельник, и после двух выходных ты никак не хотел идти в сад. Прощаясь, рыдал неудержимо. Весь день мне слышался твой плач, так что даже работать не могла, всё валилось из рук. Когда пришла за тобой, выяснилось, что так и есть: оба носовых платка мокры от слез, хоть выжимай, под глазами синяки, в глазах – тоска.

– Всё. Не пойду больше в сад, – заявил ты.

– Но ведь ты так хотел к детям, сам просился в сад, помнишь?

– Больше проситься не буду.

По дороге домой:

– А я тебе письмо написал!

Ты протягиваешь листочек аккуратно сложенной бумаги.

– Все ребята рисовали, а я тебе письмо писал.

Разворачиваю листочек и читаю:

«Дорогая моя любимая мама!

Я люблю, и, пожалуйста, прошу, чтоб в среду обязательно остаться дома. И целую, и передаю привет от всех в детском саду".

На обороте – две чудесные голофомэ, большая и маленькая. Закрученные спиралью разноцветные хвосты, удивленно открытые клювы и грустные глазки. Грустные, как у тебя…

* * *

Осень тёплая, теплее прошедшего лета. Днём бывает по-настоящему жарко.

В середине недели я устраиваю тебе разгрузочные дни: пять

дней подряд в саду тебе, конечно, трудно. Вместо сада мы отправляемся на длинную прогулку, в маленькое путешествие.

Сегодня гуляли на набережной, в парке, а потом сели на речной трамвайчик и поплыли на другой берег с замиранием сердца: стоит ли ещё Захарково?… В этот раз я уже и не надеялась, думала, снесли уже всё там подчистую, и осторожно намекала тебе на это – на тот случай, если на месте нашей любимой деревушки окажется голый пустырь – чтобы не было для тебя это горькой неожиданностью…

И вдруг – стоит Захарково! Стоит, цепляется последними домишками за пахучий, не залитый бетоном и асфальтом клочок земли… И хотя дворы уже почти все пусты, и покосились заборы, и дома некоторые увезены, а некоторые преданы огню, – всё же стоит Захарково! Покрикивают петухи, слышна перекличка псов, и коты греются на развалинах и пепелищах, залитых солнцем…

Мы идем по размытой, разъезженной дороге к тому двору, в котором ты кормил когда-то петуха троллейбусными билетами. Жив ли петух? Может, уже давно пошёл на суп…

Ан нет! И петух жив, и его куриная свита как будто не поредела. Двор кипит жизнью: слышны визги поросят, добросовестный лай собаки, сонное квохтанье кур… До чего же мы обрадовались! Ты тут же принялся угощать кур билетами, просовывая их сквозь мелкую сетку ограды, но на этот раз куры были более разборчивы.

И вдруг – в маленьком и давно не мытом окошке покосившегося и совершенно уже обшарпанного дома, вдруг в этом омутке показалась пресимпатичная улыбающаяся рожица. Это было так неожиданно для нас! Нам почему-то казалось, что, кроме кур, петуха, поросят и собаки, здесь никто не живет.

Распахнулась форточка, и в неё высунулась белобрысая круглая голова.

– А здесь паучище живет! – сообщил мальчик и засмеялся. – Я сейчас выйду, не уходите!

Через минуту он был уже на улице. Мы познакомились. Его звали Алёша Тимофеев.

Мы сидели на пыльных досках, сваленных у забора, и наш новый знакомый (которому недавно минуло три года) по-деревенски обстоятельно рассказывал нам о последних событиях, происшедших в Захарково: о том, что всем уже дали квартиры, и Колька, Вовка, Светка – все ребята уехали. Рассказал, как горел дом напротив, и сколько пожарных машин приезжало, и что доски, на которых мы сидим, – всё, что осталось от этого дома. По-стариковски поворчал, жалуясь на рык экскаваторов, роющих неподалёку котлован. Сказал, что это рычание у него уже вот где

сидит, даже спать не даёт. И про поросят рассказал, что их у них в этом году трое, очень хорошенькие. Мы попросились взглянуть на поросят, но Алеша сказал, что собака не пустит, она у них злая. Нет, не злая вообще-то, но всё-таки может тяпнуть, лучше не надо.

Из дома выглянула молодая женщина, такая же светловолосая, как и сын, и позвала:

– Алеша!

– Не могу, – ответил Алеша солидно, – я занят. Ко мне пришли.

– Алеша, иди переоденься, а потом опять выйдешь.

– Только вы не уходите, ладно? Я быстро.

И он убежал. А потом вдруг вскарабкался по стремянке на крышу дома, оттуда перемахнул на крышу курятника, ловкий, как обезьянка, и мы смотрели на него с завистью.

Выбежал опять на улицу.

– Антон, давай в войну играть!

– Как «в войну»? Я не умею.

– Вот тебе палка, это – автомат. Ложись и стреляй.

– Я не умею стрелять.

Алёша пытался наскоро обучить тебя, но у тебя плохо получалось, точнее – не получалось вовсе.

– Ложись и стреляй! – командовал Алеша.

Ты старательно (хотя и с невыразимой скукой на лице) плюхался животом в дорожную пыль, но «стрелять» так и не научился.

– Скучно, не хочу больше, – сказал ты.

– А во что тогда будем играть? – спросил озадаченный Алёша.

И тут ваши взгляды обернулись к пустырю, окружённому зарослями запущенного сада, с огромной лужей – настоящим озером посреди пустыря (на месте сгоревшего дома). И вы оба ринулись к этой красавице-луже, обгоняя друг друга. Алеша, более легкий и ловкий, примчался первым, но ты не страдаешь пока тщеславием.

Я осталась сидеть на досках, на солнышке, и наблюдала за вами издали, не мешая вам наслаждаться свободой и раздольем.

По пустырю разбросано множество вещей, которые трудно переоценить: старые ведра и тазы, миски, бутылки, доски и несколько огромных ржавых бочек, в которые когда-то по желобам стекала с крыши дождевая вода для стирки и поливки огорода.

Всё пошло в дело. Из дощечек были сооружены мостки, на воду спущены миски и кастрюли, а всё остальное приспособлено для переливания: сначала густая рыжеватая вода зачерпывается

сковородкой и наливается в банку, затем из банки переливается в бидон, потом в ведро, из ведра в таз и так далее…

И это занятие доставляло вам столько радости и наслаждения, что мне даже завидно было. Я смотрела на вас и с удовлетворением думала: «Ну, вот и у моего мальчика полноценное детство: с лужами и пустырями… Будет, что вспомнить». И сама испытывала не меньшее наслаждение, глядя на своего замызганного по уши и совершенно счастливого сына…

– Приезжайте ещё! – просил Алеша, когда мы прощались. – А то я здесь один остался.

– Приедем, завтра приедем, – пообещали мы.

– Приезжайте! Я ждать буду! – кричал Алеша нам вслед, стоя на размытой дороге, и долго махал ладошкой. – Приезжайте!… Антон!…

Мы обещали – и приехали. И в это утро было солнце, а на пустыре, закрытом от сквозняков, – прямо-таки жарко.

Алеша уже поджидал нас. В этот день мы приехали с фотоаппаратом, и я принялась тут же снимать вас. Сначала вы сосредоточенно ели персики, которые мы привезли с собой, а потом решили поплавать по луже в тазу. Почти как у Маршака:

«Три (нет, два!) мудреца в одном тазу…»

Итак, в таз сначала забрался Алеша и опробовал судно.

Превосходно! Полез и ты… И когда ты был уже обеими ногами в тазу, таз накренился в твою сторону и… До этого момента я щелкала фотоаппаратом, но тут отбросила его в сторону и бросилась к вам. Но было поздно.

Отважные мореплаватели не удержали равновесия, таз накренился ещё больше – и ты лег в ласковую, гостеприимную лужу, а на тебя улегся Алеша…

Алеша отделался легким испугом. Зато ты промок насквозь! Брюки, колготки, трусики и рубашка выше пояса напитались коричневой жижей. Пришлось всё снимать. Я развесила барахлишко на кустах, разложила на досках, на солнышке, и дальше ты бегал без штанов.

Алеша вскоре ушёл с мамой в поликлинику, а ты так прирос к луже, что увести тебя с пустыря было невозможно.

И хотя солнышко припекало, но всё-таки это было уже сентябрьское солнышко, одежка твоя никак не сохла. Тут я вспомнила, что на переправе скоро обеденный перерыв, и придётся ждать целый час, если опоздаем. Пришлось надеть на

тебя всё мокрое и холодное. Благо, у меня оказалась с собой тетрадь, я её разорвала на листы и закутала ими твои ноги и попку, таким образом хоть как-то защитив тебя от мокрых штанов.

Мы побежали по скользкой глинистой тропке к переправе и успели вовремя, но… Трамвайчик, в виду малочисленности пассажиров, не стал делать последнего, предобеденного, рейса. Как быть? Решили выбраться из Захаркова на магистраль и поискать автобус, который бы перевез нас на тот берег.

Вышли из Захаркова, прошли через сквер, по-весеннему чистый, с подбелёнными деревцами, – и попали нежданно-негаданно в удивительный мир. Маленькие улочки, засыпанные сухой звонкой листвой, одноэтажные домики с верандами и мансардами, увитые плющом и диким виноградом, с кирпичными, аккуратно подбелёнными трубами, с тёмными, покосившимися, но аккуратно подметенными крылечками…

Идем по дорожке, подкидывая ногами звонкую сухую листву, идем маленькой южной страной, здесь даже пахнет Феодосией, золотая листва хрустит и позванивает под ногами… Солнце едва пробивается сквозь густые кроны старых деревьев, пахнет влажной землей, осенью и весной одновременно. В переулке, кроме нас, ни души. Лишь одно существо – маленький трехколесный велосипед на дорожке, засыпанной сухой золотой листвой. На руле велосипеда – красное ведерко, мы заглянули в него, на дне ведерка лежал сухарик. И таким он был живым, таким милым, этот маленький велосипед, который вышел на прогулку и задумался о чём-то своем, застыв на золотой дорожке…

Мы обошли всю эту маленькую, засыпанную звонким золотом, страну, увитую ещё свежим плющом, и так захотелось забраться куда-нибудь в мансарду, под крышу, под белёную трубу, и слушать, как скрипит крылечко под шагами весенней осени, как московский сентябрь пахнет Феодосией…

Мы всё же вышли на магистраль – жаркую, пыльную, гудящую, как аэродромная полоса, но ни один автобус не шёл в сторону нашего дома.

И хорошо, что не шёл – потому что мы опять вернулись в нашу Феодосию.

…Велосипедик всё так же стоял на дорожке, но сухарика в ведерке уже не было… Мы оглянулись вокруг и увидели девочку лет пяти, – она сидела на корточках под стеной дома, увитой плющом, и задумчиво смотрела на нас серыми серьезными глазами.

– Как тебя зовут? – спросили мы её.

Она ответила. И было у неё легкое, мотыльковое имя, которое тут же улетело…

…Речной трамвай уже ждал нас. Мы распрощались с Захарково и с нашей Феодосией до следующей весны. Дождутся ли они нас?…

* * *

Утром в субботу, позавтракав, мы решали, куда нам отправиться: в лес или на бухту. Наши размышления прервал звонок в двери. Мы переглянулись.

Мы никого не ждали сегодня.

…Кто бы мог подумать, что опять придёт этот человек? На нём были всё те же остроносые сапожки вызывающе красного цвета, а на скуластом лице – уже знакомая улыбка.

– Прошло два месяца, а вы не звоните. Решился потревожить вас, – улыбка расползлась ещё шире, обнажая белые, крепкие, как у цирковой лошади, зубы. Казалось, их не меньше полусотни.

Как и в первый свой визит, два месяца тому, он, не дожидаясь приглашения, прошествовал в комнату своей странной, какой-то развинченной походкой.

Такой походкой ходят марионетки, управляемые не очень опытным кукловодом.

Плюхнулся небрежно в кресло-качалку, оно скрипнуло под ним, закинул ногу на ногу. Сидел, раскачиваясь, покачивая в такт красным острым носком щегольского сапога. Ты неприязненно рассматривал гостя.

– У-тю-тю!… – пропел тот. – Отчего мы такие сердитые?

Он протянул тебе конфетку.

– Я не люблю конфеты, – сказал ты.

– Тогда маму угости.

– Мама тоже не любит.

Гость повертел конфету в руках и спрятал её обратно в карман.

– А в цирк почему больше не приходишь? – спросил он.

– Я не люблю цирк, – сказал ты.

– Так не бывает! Дети должны любить цирк.

– А я не люблю.

В комнате повисла напряжённая пауза.

– Сынок, – сказала я, – можешь постучать на машинке…

С радостным воплем кинулся ты на кухню к нашей «Олимпии».

Я прикрыла дверь.

– Ну-с… Чем вы меня порадуете? – спросил гость. – У вас готово уже что-нибудь?

– Мне нечем вас порадовать. Я *не буду* с вами работать.

– Однако я рассчитывал на вас, – он покачивал остроносой ногой и продолжал улыбаться, словно бы не понимая смысла моего ответа.

– Напрасно. Я ничего вам не обещала.

– Но ведь вы любите цирк! Я знаю: любите, я читал ваши стихи о цирке. Поэтому я и пришёл к вам. *Только вы* можете написать то, что мне нужно. Для вас это не составит труда. Сущий пустяк! Две песенки для первого отделения, две песенки для второго. Совсем коротенькие, по пару куплетиков, для Рыжего клоуна и для Белого. Стишки для пролога с небольшим экскурсом в прошлое отечественной клоунады. Стишки для эпилога, лирические, ностальгические, как ваша душа пожелает! Я предчувствую: это будет не спектакль, а феерия! Мы ещё с вами завоюем Оскара, вот увидите! Не надо капризничать, давайте возьмем карандашик, и быстренько, прямо сейчас… – он стал шарить по карманам. – И потом: это большие деньги, – сказал он весомо. – Вы могли бы хорошо заработать и несколько лет безбедно жить. В вашем положении…

Я не дала ему договорить.

– Нам много не надо.

– Ну, что вы! Деньги раскрепощают. Они дают истинную свободу.

Начинаешь чувствовать себя хозяином положения. Уже не тебе, а ты диктуешь условия…

Я хотела возразить ему, но – не стала: он бы всё равно не понял меня.

– Итак… – сказал он, когда его поиски увенчались успехом, и он извлек из кармана велюровой курточки толстый фломастер. – Листик бумаги у поэтессы найдется?

– Не надо. У меня не получится, – сказала я.

– Хм…

Он с любопытством воззрился на меня, даже его остроносый сапог на мгновение замер.

– Но ведь *для него* вы писали! – кивок в сторону афиши, с которой грустно и чуть-чуть насмешливо улыбался, словно бы прислушиваясь к нашему спору, Клоун.

– Для него – да.

– Так ведь я его ученик! Кому же, как не вам, оценить то, что

я делаю. Я не мог позволить, чтобы его клоунады, его гениальные репризы, эти шедевры, ушли вместе с ним!

– Вы украли их.

– У кого? – он продолжал улыбаться. Улыбка была словно приклеена к его лицу.

– У него.

– Не морочьте мне голову. Украсть можно только у живого.

– Даже костюм, даже прическу…

Но он пропустил это мимо ушей.

– Его клоунады – наше всеобщее достояние! И мы, его ученики…

Я не дала ему договорить:

– У него *нет* учеников. Одни подражатели.

Красный носок сапога задрыгался в нервном танце.

– Я усовершенствовал все его трюки!

– Ах, боже мой, причем тут трюки?…

Улыбку словно бы стерли с его лица. И теперь я видела только его глаза, непонимающие и напряжённые.

– Кто вам позволил судить меня?

– Он. – Я кивнула на афишу, с которой грустно и насмешливо улыбался Клоун.

И вдруг гость в красных сапожках выпрыгнул из кресла, так, что оно, скрипя, отлетело и с грохотом ударилось о шкаф. В одно мгновение он оказался у афиши и с хрустом содрал её со стены.

– Вы!… Сидите тут в четырех стенах!… молитесь на кумира!… – и швырнул афишу на пол.

– Убирайтесь! Иначе я убью вас. – Услышала я свой голос, показавшийся мне чужим. В ушах звенело, сердце ухало, как молот.

– Ну-ну! – вновь оскалился он. Его глаза сузились до щёлок, и в этих щёлках было темно.

И тут он стал стремительно уменьшаться и отдаляться от меня… И вот уже превратился в карлика, маленького злого карлика в остроконечных красных сапожках, он приплясывал в другом углу комнаты, и строил мне рожи, показывая полсотни мелких мышиных зубов…

– Убирайтесь вон, – сказала я, чувствуя нестерпимую усталость.

Маленький тёмный вихрь пронесся мимо меня. С треском хлопнула одна дверь, другая…

Я наклонилась и подняла афишу. К счастью, лицо на ней не пострадало. Клоун всё так же улыбался мне своей чудесной, по-детски беззащитной улыбкой…

В комнату заглянул ты.

– Ку-ку, мамася!

– Ку-ку.

Я сделала над собой усилие и улыбнулась тебе.

– Ты зачем афишу сорвала?

– Это не я.

– А кто это был?

– Разве ты не вспомнил его? Это дядя-клоун, мы летом ходили в цирк, он там выступал…

– Не помню.

– Он ещё нас за кулисы водил, тигров тебе показывал в клетках, медведей… Там ещё такой маленький смешной медвежонок был, всё лапу сквозь решетку просовывал, будто поздороваться хотел…

– А… вспомнил. Ещё этот дядя невкусные конфеты давал. И говорил, что, если бы наш Клоун был жив, он бы никому уже не был нужен. И вы ссорились.

– Не ссорились, а спорили.

– А зачем он ходит к нам?

– Хочет, чтобы я работала на него, писала песни для его спектакля. Хотя я ещё в тот раз сказала ему, что ничего писать для него не буду.

– Зачем же он пришёл?

– Уговаривал…

– А ещё придёт?

– Нет, больше не придёт.

* * *

И опять было утро, опять трудное прощание. Шел дождь, дети играли в группе на втором этаже. Выйдя во двор, я взглянула на окна игровой комнаты. У одного из окон стоял ты, приплюснув нос к стеклу. Ты плакал.

Я помахала тебе. Ты попробовал улыбнуться, но улыбки не получилось, только жалкая, страдальческая гримасса искривила твоё лицо…

В этот вечер я задержалась. Когда пришла за тобой, всех детей уже разобрали, ты остался один, сидел с Любовь Петровной на скамейке, под глазами – тёмные круги, в глазах – тоска. Увидев меня, с рыданиями бросился мне на шею.

– Сын очень любит вас. Он так переживал, что вы

задержались. Сидит и твердит: «Только бы ничего не случилось! Только бы ничего не случилось!»

– Что же со мной могло случиться, сынок?

– Не знаю… – выдохнул ты еле слышно.

По дороге домой.

– Ты почему так долго не шла?

– Я ездила по делам, сынок.

– По каким делам?

– Искала работу.

– У тебя же есть работа, твои рецензии.

– Но ты же знаешь, какая это ненадежная работа: сегодня – есть, завтра – нет, послезавтра – неизвестно… Я устала от этой постоянной неизвестности.

– А ты какую работу хочешь?

– Ох, Антоша… Какую хочу, я вряд ли найду. Хотела бы в издательстве где-нибудь, редактором. Хорошо бы не каждый день, конечно. Чтобы оставалось время на нашу жизнь…

Вечером, после ужина, мы делали гербарий, пришивали к альбомным страницам листья и цветы, собранные и засушенные тобой за это лето, уже прошедшее… Неожиданно ты схватил мою руку и несколько раз лизнул её.

– Ты что, Антончик?

– Я тебя облизываю – потому что на всех планетах так проявляется любовь.

– Дурачок ты.

– Ничего не дурачок. Я тебя лижу – и в меня сразу вскакивает двести миллиардов витаминов!

Потом ты рисовал, как всегда – шариковой ручкой, упорно не признавая ни красок, ни цветных карандашей. Рисовал и делал пояснения к рисункам:

– Это – космос огромных планет и крошечных солнц. Это – солнечная система без солнца, и поэтому вместо планет такие блины без атмосферы…

Утром по дороге в сад.

– Ты опять едешь по делам?

– Опять.

– Приходи за мной пораньше.

– Я постараюсь.

Глаза твои наливаются слезами…

– Ну, что ты, милый?

– Я не хочу в сад.

– Не хочешь? Почему?

– Там… невкусно.

– Ну, миленький, надо привыкать.

– Я никогда не привыкну! – с тихим отчаяньем воскликнул ты.

– Ну, что ты, милый, ну, что ты! Другие ребята привыкают, и ты привыкнешь. Постепенно…

Дети гуляли во дворе. Ты пошёл к своей группе и остановился поодаль, грустно нахохлившись…

– Мне нужно поговорить с вами, – сказала, подходя ко мне,

Евдокия Васильевна, пожилая строгая воспитательница. Эта женщина, казалось, не умела улыбаться, и ты с первых же дней стал её побаиваться.

– Вы знаете, Антон ничего не ест, – сказала она строгим голосом.

– Как? Совсем? А он говорит: ест…

– Ну, разве это еда? Только хлеб да булочку какую-нибудь за весь день. Ну, и пьет ещё: компот и чай, а от кофе отказывается, наотрез. – Понимаете, он ещё не привык. Он ведь домашний ребёнок…

– Я всё понимаю, но вынуждена его заставлять. Он и так у вас худенький.

Она смотрела на меня сурово и осуждающе, и я почувствовала, что съеживаюсь под её взглядом, робею.

– И вообще, он у вас странный, – сказала она жестко, будто бы ставя диагноз.

– Почему странный?

– Он, конечно, мальчик развитой, я бы сказала: даже слишком. Но лучше бы он в футбол с мальчишками играл. Говорю ему: «Иди играть в футбол», а он мне отвечает: «А зачем? В какой футбол?» Ребята в войну играют, а он опять: «А зачем?» Нельзя же всё время только книжки читать!

– Но не всем же детям играть в футбол.

Она смотрела на меня осуждающе.

– Не удивляйтесь, если его начнут бить, – сказала она.

– Бить?… За что?!

– Слишком уж он беззащитный у вас… Таких всегда бьют.

«Таких всегда бьют…» – звучало у меня весь день в ушах.

Пять часов в прокуренной приёмной.

– У меня есть шанс попасть сегодня к директору?

– Хотите дождаться – ждите. Я доложила о вас.

– Но через пятнадцать минут конец рабочего дня…

Секретарша пожала плечами и ничего не ответила.

Тут распахнулась дверь кабинета, и в приемную вышел директор, уже в плаще и шляпе.

– Геннадий Васильевич, к вам тут женщина.

Он с досадой взглянул на меня.

– Заходите! Только быстро.

Он вбежал в кабинет, я за ним. Не снимая плаща и шляпы, присел на край стола, мне указав на стул.

– Ну, что у вас? Только в двух словах, я спешу.

– Мне нужна работа.

Он мельком взглянул на анкету, которую я положила перед ним.

– Хотите откровенно? – сказал он.

– Да, только так, пожалуйста.

– У меня есть вакансия. И не одна. Но я вас не возьму.

– Почему?

– Я вас не знаю. Вы для меня – человек с улицы.

– Но, если вы не возьмете меня на работу, вы так и не узнаете меня.

– Согласен. Но у меня есть люди, которые годами ждут места. Ходят, напоминают о себе, мелькают… Вы-то откуда взялись? Где вы были раньше?

– Растила сына. Мне некогда было мелькать.

– Так у вас, к тому же, ребёнок?

– Да, сын.

– Так… Одинокая женщина с ребёнком. Конечно, беспартийная? Я так и думал. Ребенок будет болеть, бюллетени и тому подобное…

– Наверное, вы в детстве тоже болели?

Он посмотрел на меня, не понимая.

– Кстати, а почему вы пришли именно в моё издательство? – спросил он. – Почему бы вам не сходить в «Детгиз» или в «Молодую гвардию»? Насколько мне известно, там нуждаются в хороших редакторах.

– Там я уже была.

– Сочувствую вам. Но… – он развел руками. – Впрочем, звоните. Со временем, может быть… Появляйтесь, мелькайте!

Вышла на улицу – в пасмурную окраину, в обшарпанность мокрых палисадников.

В пасмурную очередь на автобусной остановке. В душную, пахнущую осенней сыростью, давку метро. В тысячеликое одиночество часа «пик».

В тягучесть обратной дороги в конце пустого дня… Сколько от этой конторы до нашего дома? Полтора часа. Итак, три часа

уходило бы на одну только дорогу! Плюс восемь часов в издательстве. Итого, одиннадцать. Когда бы мы виделись с тобой, сынок? Выходит, на жизнь – на нашу с тобой жизнь – совсем не оставалось бы времени? Нет, такой работы нам не надо…

Ты встретил меня у самых ворот с охапкой жёлтых листьев.

– Слушай стишок, мамася!

Все ходят с букетами,
Огромными цветами!
Все ходят с букетами,
Огромными цветами!

– И ещё слушай:

Любовь Петровна плюс Евдокия Васильевна
Получается Любокия Петросильевна!

– Отличные стишки, Антончик.

Мы смеёмся. И тоска и безнадёжность этого дня отпускают меня…

– Ну, как ты сегодня? Ел что-нибудь?

– Полудничал. Пирожок с замазкой. Замазку выкинул, а пирожок съел. В обед хлеб и компот ел.

– А утром?…

– Утром? Воспитательница говорит: скорей пейте все кофе!

– Ну, и как, пил?

– Пил, – неуверенно говоришь ты. – Такие серенькие помои с мусоринками.

– Так уж и помои?

– Очень похоже. Такой цвет некрасивый…

– А чем вы занимались? – перевожу я разговор на другое. – В какие игры играли?

– Занятия математические были. Смешные очень.

– Почему смешные?

– До пяти учили считать! К двум картоновым яблокам прибавляли три картоновые груши! Любовь Петровна всё объясняет, объясняет, а ни у кого не получается… Потом она сказала: устала я от вас! Антон, сосчитай им. Ну, я сосчитал… до пяти миллионов! – ты смеёшься. – Шучу, конечно. Потом книжку ребятам читал.

– Какую?

– Сказки разные. Про начальника злости.

– Про кого?!

– Про Кащея.

Подумав, сказал:

– А можно было не убивать Кащея, а перевоспитать. Тоже хороший рецепт. А ещё я тебе письмо написал! И вот, подарок тебе, – ты протягиваешь помятый спичечный коробок.

Читаю письмо:

«Милая моя мамочка Романушко!

Я тебе подарил спичечный коробок, не потеряй ево, он – обо мне на память. Я люблю тебя очень сильно, ты чувствуешь? Но мамочка, ты ещё подскажи мне, хочешь ли ты, чтобы я тебя сфотографировал опаратом «Огонек», и ещё я тебя целую, и передаю привет из страны невидемых городов. Целую. Антон."

– Конечно, хочу, – сказала я. – Спасибо, миленький, и за подарок, и за письмо такое чудесное. Я тоже о тебе весь день думала…

– А почему ты грустная?

– Устала, сынок. Я сегодня пол-Москвы объездила, где только ни была…

– Нашла работу?

– Нет.

– А когда найдешь?

– Не знаю…

За ужином ты судорожно хватал чёрный хлеб с маслом, умял два омлета, и никак не мог наесться. Отвалившись от стола, запел:

Мой сыночек рыжий
Съел кусок Парижа!
Мой сыночек жёлтый
Съел кирпичик тертый.
Мой сыночек сладкий
Съел ботинок гладкий…

Ты похудел за две детсадовские недели, нос заострился, под глазами залегли тени, которые не исчезали даже ночью, во сне. Даже во сне вид у тебя был уставший и грустный.

Укладывая тебя спать, заметила, что твои ноги, от щиколоток и до самых колен, в синяках.

– Антон, ты почему весь в синяках?

– В саду так много углов… – нехотя ответил ты.

* * *

На следующий день я, как обещала, пришла за тобой пораньше, ты ещё не успел занять свой пост у окошка веранды и начать считать кирпичи. Ты сидел на горке песка и что-то строил. Рядом с тобой в песке играли два мальчика, вы о чём-то оживленно переговаривались. Но не успела я порадоваться, что у тебя хорошее настроение и ты играешь с ребятами, как ситуация в песочнице мгновенно изменилась. Пока я шла от калитки к вашему участку, на моих глазах разыгралась следующая сцена. Один из мальчиков стал что-то выкрикивать, размахивая руками. Ты с улыбкой отвечал ему. Мальчик, крайне раздражённый, ударил тебя кулаком по голове. Ты заплакал. Оба мальчика вскочили, словно твой плач послужил им сигналом, и стали бить тебя. Они затаптывали твой город, били тебя по рукам ногами, наступали тебе на руки (ты пытался защитить свои чудесные башни), мальчики пинали тебя, били по спине, по голове…

Я бежала тебе на выручку, а Евдокия Васильевна спокойно созерцала эту сцену, сидя в двух шагах на веранде. Она не шевельнулась и не проронила ни слова. Ты плакал, даже не пытаясь защититься, лишь прикрывая голову руками от ударов, продолжая сидеть на холодном песке среди руин своего сказочного города…

Подбежав к песочнице, я с трудом оттащила от тебя мальчишек. Подняла тебя, вытирала твоё лицо, измазанное песком и слезами…

– За что вы его бьете?

Оба мальчика, разгоряченные, исподлобья смотрели на меня одинаково злыми глазами.

– За что вы его бьете?

– А чего он…

– Что «чего»?

Мальчики угрюмо молчали.

– Антон, за что тебя били? Ты кого-нибудь из них обидел?

– Я им рассказывал про Маль… А он, этот Ваня, говорит: это неправда! А я говорю: правда! И они стали стукать и всё ломать… – ты опять залился слезами.

Мальчики стали что-то выкрикивать, размахивая руками, что-то злое, несвязное, все их обвинения сводились к тому же: «А чего он!…»

Евдокия Васильевна наконец поднялась и неторопливо приблизилась к нам.

– Я вас предупреждала, что его будут бить, – почти с

удовлетворением сказала она.

Я не могла говорить, я боялась заплакать. Первый раз в жизни тебя били, били на моих глазах (впрочем, первый ли? я тут же вспомнила синяки на твоих ногах). Я была потрясена тем, что тебя могут бить, тебя, который никогда никого не ударил.

Обидчики твои, чувствуя безнаказанность, испарились. Мы стояли у песочных руин втроем.

– Ему нужно учиться давать сдачи, – говорила мне несокрушимо спокойная Евдокия Васильевна. – Антон, ты должен давать сдачи.

– Какую сдачу? – поднял ты на воспитательницу горькие заплаканные глаза.

– Ты что, не знаешь, что такое «сдача»? – изумилась воспитательница.

– Не знаю, – смущенно признался ты, словно тебя уличили в чем-то нехорошем.

– Тогда вам придётся объяснить своему сыну, что такое давать сдачи.

По дороге домой.

– А ты ходила в сад, когда была маленькая?

– Ходила.

– А тебя стукали?

– Один мальчик… Однажды он даже оторвал мне воротник от пальто. Бабушка пошила мне новое пальто, а он в первый же день его порвал. Было очень жаль бабушку… Я тоже плакала и не умела давать сдачи.

– А как её давать?

– Никогда не думала, что мне придётся тебя учить этому. Вот уж не думала… Дать сдачи, Антон, это ответить тем же. Когда тебя бьют, ты должен защищаться.

– Тоже стукать?

– Ну… в общем, да, – с усилием выдавила я из себя, чувствуя отвращение к себе, к Евдокии Васильевне, к детсаду, к жестокой необходимости учить тебя тому, против чего восстаёт моя душа.

– А синяки на ногах – это, небось, тоже от «стуканья»?

– Они все ногами бьются.

– Но из-за чего вы дерётесь-то?

– Не знаю. Подходят и начинают стукать.

– И ты плачешь?

– Да.

– А они ещё больше стукают?

– Да…

– Тебе, сынок, прежде всего нужно учиться не плакать. Даже

если больно, даже если очень обидно.

– Не получается… – говоришь ты со вздохом.

– Я понимаю… Это трудно. Но пока ты будешь плакать, они тебя будут бить.

– Почему? – твои глаза опять наливаются слезами.

– Они видят, что ты слабее, что ты боишься их, – и это распаляет их ещё больше… К тому же их много, а ты один. Понимаешь, они испытывают тебя. Но если ты не будешь плакать – они увидят, что ты не боишься их, и оставят тебя в покое.

– Я попробую…

– Попробуй, сынок.

Весь вечер ты был грустным. Молча качался в кресле-качалке, на мои вопросы отвечал односложно: «Так…», «Ни о чём…»

За ужином капризничал, ворчал: «Слишком ужин многоярусный…» С трудом уговорила тебя выпить чашку молока. И вообще вид у тебя был уставший, измученный и больной.

– Антон, а у тебя ячмень на глазу наклёвывается. Небось, от сидения на холодном песке… Придётся тебе посидеть пару деньков дома.

– Ура!… – отчаянно завизжал ты.

На следующее утро ты блаженно претерпевал все процедуры: промывание глаза крепким чаем, прикладывание к веку тёплого, вкрутую сваренного яйца, и весело напевал при этом:

Жил-был ячмень,
Кара-чечень!
Когда он прорвёт,
Не знает народ!

Но ячмень был только сигналом. Вскоре потекло из носа, и послышалось лёгкое, но упорное покашливание.

Насморк и кашель к вечеру усилились, особенно трудно было ночью, кашель начинал душить тебя, как только ты опускался на подушку. Я взяла тебя на колени, и ты заснул у меня на руках, припав горячей головой к моему плечу…

* * *

Начались хождения по врачам. Но ты рад, тебе лучше в

поликлинику, чем в детсад.

И дома тоже играешь в поликлинику. Написал множество бумажек с номерами кабинетов и названиями врачей и расклеил их по всей квартире: теперь на кухне у нас лаборатория, в ванной принимает педиатр, в платяном шкафу – хирург, в посудном шкафу делают рентген, в холодильнике лечат зубы, а в шкафу под мойкой сидит бедный кожник…

То и дело ты колешь мне пальцы острыми палочками и велишь терпеть, потому что тебе совершенно необходимо брать у меня каждый день анализ крови; выстукиваешь колени, спину, и, слава богу, никаких серьезных болезней у меня пока не находишь.

Этой же ласковой экзекуции подвергаются все приходящие к нам: бабушка, тётя Мариша и соседи.

Эта игра и бесконечные разговоры о том, что у человека внутри (особенно после того, как мы несколько раз сходили на рентген) – все эти разговоры были не просто игрой. Как выяснилось некоторое время спустя, они были сосредоточенным и неотступным раздумьем: где, в каком месте в человеке помещается жизнь? Что в человеческом организме главное?

И почему человек умирает?…

Однажды ранним вечером, когда ты уже выздоравливал, мы возвращались с прогулки домой, и на светло-синем небе засеребрились первые звёзды, ты тихо и убежденно сказал:

– А я знаю, когда человек умирает. Когда у него рвется *паутина жизни*. Какая паутина жизни? Ну, такая паутина внутри, по которой бежит жизнь… Паутина есть у всего – у человека, у цветка, и у звезды…

Нарисовал схему внутренностей человека: сердце, легкие, желудок и – паутина жизни.

Теперь тебе всё ясно.

Завел блокнот, на обложке которого написал: «Новое для тех, кто мало знает».

«Нутрь.

На самом деле у нас у каждого есть паутина жизни. Паутина жизни – это паутина, по которой бежит жизнь. Паутина жизни шевелится. Там, в механизме паутины жизни, есть кружочек, который, когда паутина жизни вздрогнет, – там вытягивается ещё одна паутина жизни, которая есть внутри. Знаете, как человек умирает? Потому что паутина жизни рвётся. Паутина жизни состоит из того же, что мы едим.

Паутина жизни есть у всех – у цветов, у звёзд и у земли. А кто паутину жизни придумал, и из чего состоит паутина жизни у Земли – это вы узнаете на стр. 10.

1800 или больше лет назад один учёный узнал, что паутина жизни состоит не только из того, что мы едим, она ещё состоит из луны, звёзд, солнца и ещё из разных химических веществ".

– Мама, а ты знаешь, что наша жизнь круглая? Как циферблат часов, как наша планета…

Глубоко, глубоко задумался…

– Антоша, о чём ты думаешь?

– Вспоминаю жизнь прошлых веков и тысячелетий… Каждый человек живет не один раз, а несколько раз. Тебе уже 530 лет, ты живешь шестую жизнь. А мне – 204 года, я живу третью жизнь… Прошлые жизни летают в космосе – как самолетики… Человек умирает на несколько лет или веков, а потом опять рождается.

– Откуда ты это узнал? – я не могу сдержать удивления: ведь мы никогда не говорили на эту тему.

– Я не узнал. Я *вспомнил*.

Сумерки… Мы сидим на тахте. Ты смотришь на меня своими огромными, тёмно-золотистыми глазами, в сумерках они кажутся совершенно чёрными, и в их бездонной глубине отражаются огни вечернего города – или вселенной?… Глаза твои таинственно поблескивают… И мне кажется, что тебе действительно *есть что* вспомнить из своего звёздного прошлого…

– Мне иногда кажется, что ты старше меня, – говорю я тебе. – Ты помнишь то, чего не помню я…

– Что я твой дедушка? – улыбаешься ты.

– Да. Что ты мой дедушка.

И потом много, много дней ты был захвачен этой фантастической мыслью. На каждого встречного смотрел проницая, словно оракул, и изрекал: «Этот дядя живет третью жизнь», или: «Эта бабушка живет седьмую жизнь».

– Мама, а ты когда-то была деревянная! – сообщил ты как-то вечером, когда я подошла поцеловать тебя перед сном.

– Это когда же я была деревянной? – смеюсь я.

– Когда родилась. В самом начале. И все люди так: рождаются деревянными, а потом становятся живыми. И я у тебя родился деревянным. Разве ты не заметила?

– Да нет, ты с самого начала был живым.

– Ну, да, да! Сделан из живого дерева!

Прошло две недели. Ты поправлялся. Опять вернулось тепло, бабье лето словно спешило порадовать нас, приласкать ещё немного перед долгой зимой. По вечерам мы гуляли на нашей

бухте. Ты строил в тёплом песке замки, рыл каналы… Я смотрела на тебя, неутомимо возводящего песочные города, прекрасные, какими могут быть только города на планете Маль, и почему-то опять, в который уже раз, вспомнила о недавнем госте, и опять мысленно заспорила с ним… И когда ты, проницательно заглянув мне в глаза, спросил: «Ты о чём думаешь, мамася?», я сказала:

– Помнишь человека, который сорвал афишу?

– Помню. А что?

– Он, конечно, недобрый человек… И мне неприятно, что он был в нашем доме. Но мне кажется, что приходил он с каким-то смыслом…

Я всё думала, думала, пыталась разгадать этот смысл… И ты знаешь, я поняла, зачем он приходил.

Ты молча, в напряжении слушал меня.

– Как ты думаешь, почему я люблю Клоуна? Почему так часто вспоминаю его?

– Ну, вспоминаешь… Потому что вы дружили, – говоришь ты.

– Наш Клоун научил меня главному. Научил отличать настоящее от подделки, правду от лжи. Но я не успела отблагодарить его за эту науку. Не знала, как. Зато теперь – знаю. Теперь *знаю*, что я могу сделать для него.

– Что? – живо спросил ты.

– Я напишу о нём книгу.

– Книгу?

– Да. И спасибо этому, в красных сапожках. Если бы не вся эта история, я бы, наверное, не решилась… Но когда он сказал, что *Клоун никому не был бы нужен*, когда он набросился на афишу, как на живого человека, я поняла, что срочно должна что-то делать. *Я хочу, чтобы Клоун жил*. Чтобы его помнили. Чтобы его узнали и полюбили те, кто не успел его увидеть… *Хочу, чтобы он жил*. Понимаешь?

– Я понимаю…

– Только очень боязно. Не знаю: получится ли?…

– Получится, – сказал ты деловито и спокойно, как о чем-то не подлежащем сомнению.

– Ты-то откуда знаешь? – засмеялась я.

– Потому что ты моя мама. Потому что я тебя люблю.

Против таких веских аргументов мне нечего было возразить.

* * *

И опять было утро, опять ты стоял в слезах у окна…

Я уходила по дорожке, засыпанной мокрой жёлтой листвой, уходила всё дальше, беспрерывно оглядываясь на твоё окно, и твои полные тоски глаза словно бы бежали за мной, настигали, приникали к моему лицу, вырастая до отчаянных размеров, затмевая своей тоской всё вокруг…

И опять я весь день ездила по издательствам, и опять – впустую.

– Ну, как, нашла работу?

– Нет…

– А тебе письмо!

Оно лежало в кармане вместе с мокрым от слез носовым платком и было влажным и смятым.

«Дорогая мамася!

Люблю тебя очень и давай не пойдем в детский сад в пятницу, как ты обещала. С другой стороны – рыбы. Целую очень крепко и передаю привет от всех 30 человек."

– Хорошо, насчет пятницы договорились. Но до пятницы нужно проходить.

Ты вздохнул.

– Расскажи, как ты жил сегодня? Что делал?

– Скучал.

– А кроме «скучал»?

– Ещё сегодня морковки лепили…

– Все тридцать человек морковки?

– У кого красный пластилин – морковки, а у кого жёлтый – репку.

– А другое что-нибудь нельзя было слепить? Ведь это же слишком легко…

– Нельзя. Сказали, у нас конкурс: на лучшую морковку и на лучшую репку.

– А ещё что было?

– Что ещё?… Ещё Любовь Петровне помогал, на веранде листья подметал.

Потом мы сидели, я ей про Дерефан рассказывал. Она так удивлялась!

Говорит: интереснее всяких сказок…

Отношения с ребятами у тебя продолжали накаляться. Тебя били каждый день, даже во время еды (ногами под столом), даже во время дневного сна, улучив минуту, когда воспитательница выйдет из спальни.

Ты стал очень нервный и дома без конца нарывался на ссору, тебе всё время хотелось выкинуть что-нибудь эдакое: вывалить на пол одежду из шкафа, или выдрать цветок из горшка, или устроить небольшой потоп в ванной. Одним словом, разрядиться. И мои нервы тоже порой не выдерживали.

– Антон, ты и в саду так себя ведешь?

– В саду я хороший.

– А дома почему же?

Ты задумался на минуту и ответил вполне убедительно:

– Если я буду везде одинаковый, тогда я буду везде хужее.

За ужином неожиданно устроил истерику. Увидев перед собой тарелку, ты крепко зажмурил глаза, сжал губы, так, что они побелели, закрыл уши руками. Мыча, ты отчаянно мотал головой. Наконец, из тебя вырвался крик:

– Не буду!…

– Почему не будешь? Ты же голоден.

– Не буду! не буду! не хочу! не буду!… Меня вырвет!…

– Да почему тебя вырвет? Это твоя любимая каша… – я попыталась отвести твои руки от лица. И ты, как зверек, вцепился зубами в мою руку. Я вскрикнула от неожиданности и боли.

– Ты в саду научился кусаться?!

– Да! – с вызовом крикнул ты.

– И что воспитательница делает, когда вы начинаете кусать друг друга?

– Я не кусал!

– А с теми, кто кусал, что делает?

– Ставит в угол!

– Ну, и как? Помогает?

– Помогает!

– Может, и тебе поможет?

– Не хочу!… – завопил ты каким-то чужим, незнакомым голосом, которого я у тебя не знала.

– Пойдем-пойдем, голубчик! – я взяла тебя за руку и повела, точнее, потащила в комнату. Ты визжал, упирался ногами, пытался ещё раз укусить меня.

– Ах, так?… – я оглянулась по сторонам, ища место, где бы не было сквозняка. Бросив на пол у книжного шкафа половик (чтоб не простудился) я как можно суровее сказала:

– Постой-ка на коленях в углу. Может, и тебе поможет.

И ушла на кухню.

Некоторое время до меня доносились твои сердитые крики: «Выйду! Выйду!… Вот возьму и выйду!…»

Потом ты угомонился и затих. В комнате было так тихо, что казалось – ты уснул там, устав буйствовать. Я осторожно

приоткрыла дверь…

Тихий и сосредоточенный, ты по-прежнему стоял на коленях в углу, в руках у тебя была книга. Я подошла и заглянула в неё. Это была «Астрономия» Струве.

– Ну, что, успокоился?

– Да.

– Тогда выходи и идем ужинать.

– А можно я ещё постою? – улыбнулся ты. – Дочитаю.

– Хорошего понемножку. Идем ужинать.

– Не хочу ужинать.

Лицо твоё опять померкло.

– Как не хочешь? – растерялась я.

– Не буду.

– Да почему, в конце концов? – я с трудом сдерживала раздражение.

– Боюсь.

– Антон, брось валять дурака, надоело.

Ты смотрел на меня исподлобья, и глаза твои наливались слезами.

– Я никого не валяю…

– Ладно, давай спокойно потолкуем.

– Всё равно не буду есть.

– А если цветок не поливать? Засохнет?

– Засохнет.

– А если нашей черепахе не давать есть? Умрет?

– Умрет…

– А человек?

– Тоже умрет.

– Значит, ты всё понимаешь?

– Понимаю…

Обливаясь слезами, давясь, сморкаясь и кашляя, с невыразимым отвращением ты ел кашу, которую ещё недавно любил.

– Что с тобой стряслось, Антончик?

– Не знаю…

Долго не мог уснуть. Спал неспокойно, вскрикивал, садился в постели, испуганно тараща глаза, что-то бормотал, всхлипывал: «Не надо! не хочу!… Не надо!…» – «Успокойся, сынок, успокойся…»

Утром Евдокия Васильевна отозвала меня в сторону и сказала:

– Вчера я припугнула его. Сказала: если не будет есть, я позову врача, и врач сделает укол.

– Зачем вы пугаете его? Он такой впечатлительный. Вчера у него была истерика. И ночью спал плохо…

– Как же вы мне прикажете управляться с ним?

– Надеюсь, он привыкнет, – без особой уверенности сказала я. – Постепенно…

Ты продолжал отказываться от еды. Евдокия Васильевна, несмотря на мои просьбы, продолжала пугать тебя, изыскивая всё более изощренные способы. Вскоре я узнала, почему, когда я ставлю перед тобой тарелку, ты тут же закрываешь не только рот и глаза, но и зажимаешь руками уши… Оказывается, заботящаяся о твоём здоровье Евдокия Васильевна не раз грозилась, что выльет тебе суп в карман, что зальет его тебе в уши… Она испытывала и такой способ: если ты отказывался от первого, она выливала в тарелку с супом второе, туда же выливала компот и криком пыталась заставить тебя есть эту бурду. Тебя тошнило, рвало…

Узнав об этом, я потребовала, чтобы она оставила тебя в покое. На что она поджала обиженно губы и сказала, что то время, которое ты в саду, ты всё равно на её ответственности, и никто, даже я, не вправе эту ответственность с неё снять.

Только Любовь Петровна искренне сочувствовала тебе. Но что она, сама ещё девочка, могла сделать? Она только могла жалеть и любить тебя.

– Откровенно говоря, то, что здесь готовят, есть невозможно. Я сама только чай пью, да и тот бывает прокисшим… – призналась мне она. – Старайтесь его получше кормить дома, утром и вечером.

– Так он и дома перестал есть. У него какое-то отвращение к еде. Не знаю, что делать… Скажите, а как же другие дети?

– Эти? Они к нам все из яслей пришли, они привычные… Но Антоша, боюсь, не сможет привыкнуть. И дело не только в еде… Просто он из другого мира. Он – *другой*. Дети не принимают его. Как всякое стадо изгоняет чужака, так и они. Они его бьют, вы знаете? И не только мальчишки…

– Знаю… Но что же нам делать?

– Когда моё дежурство, я стараюсь его возле себя держать. Он мне помогает. Мы разговариваем. Или сажаю его перед группой и прошу почитать или рассказать что-нибудь. Дети его слушают, раскрыв рты. Но стоит отвернуться или выйти из комнаты, тут же начинают бить…

Мы стоим возле беседки и смотрим, как дети граблями сгребают листья на участке, собирают сухие ветки и сносят их в костер. Горький дым стелется по двору, щиплет глаза…

– Я вам советую: забирайте его отсюда. Недетсадовский он у вас…

Я готовила ужин, ты играл в комнате, но вскоре заглянул ко мне и с лукавой улыбкой спросил:

– А когда ты меня опять в угол поставишь? Мне понравилось в углу стоять.

(После первого своего стояния в углу ты поставил там скамеечку и сложил на неё свои любимые книжки: «Астрономию», «Насекомые СССР», Маршака, Чуковского, Андерсена… Таким образом устроив себе маленькую библиотеку – «читальный угол», как говоришь ты).

За ужином пересказываешь мне «Свинопаса» Андерсена. И горько заключаешь:

– Хорошо началось, грустно кончилось. Принцессу выгнали, когда она доцеловывала восемьдесят седьмой поцелуй…

И осторожно допытываешься у меня:

– Всё ж таки, наверное, король посердится-посердится, а потом пустит её домой, а? Всё ж таки жалко…

И – грустное философическое заключение:

– Вот так всегда. Что хорошо начинается, плохо кончается…

– Но ведь не всегда, Антоша, ведь не всегда! А наша с тобой жизнь?

– Когда не было этого невкусного садика, было лучше.

* * *

И вот настал день, когда ты категорично заявил: «Больше я в сад не пойду!»

Шел и плакал.

– Сынок, мне опять нужно ехать по делам… А тебе привыкать. Ведь если я найду работу, я буду уезжать каждый день, утром уезжать, а вечером возвращаться.

– Я лучше один дома сидеть буду!

– А кто тебя покормит? Кто с тобой погуляет?

Отчаянье залило твоё лицо.

– Крепись, милый. У всех мамы работают, а все дети ходят в сад.

Давай привыкать. Только не плачь, ладно? Ведь ты мужчина. Маленький, но мужчина. Если ты будешь плакать, я тоже заплачу…

– Ладно… – прошептал ты. – Только приходи за мной пораньше!

Твое лицо в окне второго этажа, залитое слезами…

С каждым днём, расставаясь со мной, ты плачешь всё горше, всё неудержимее.

Я давно уже не верю, что ты сможешь привыкнуть: к «сереньким помоям с мусоринками», к щелчкам и пинкам, к шуму, от которого у тебя к вечеру болит голова, к скучным математическим занятиям, на которых тебе нечего делать, к невозможности отдохнуть днём, во время дневного сна, к угрожающим «шуткам» Евдокии Васильевны… И твой прощальный взгляд, устремленный мне вслед, исполнен такого недетского страдания, такой тоски, словно мы расстаемся навеки.

Господи, как жить? Что делать?…

В тот день я предприняла последнюю попытку. Я вошла в тёмное, угрюмое, с узкими окнами здание Архива. Больше идти было некуда. И ждать нечего. За два последние месяца я не получила на рецензию ни одной рукописи. Только равнодушно-вежливое: «Звоните завтра». Нет, мне не отказывали. Но, между тем, работы всю осень не было. Наши крошечные сбережения (аванс за сборник стихов, который выйдет неизвестно когда) подошли к концу, как мы ни старались их протянуть. Влезать в долги мы с тобой не любили, потому что отдавать было нечем. Лучше вовсе не брать. Опять просить у мамы – невмоготу… Как жить дальше?

Я вошла в тёмное, угрюмое здание с узкими окнами, где в коридорах стоял затхлый, невыветриваемый запах старых бумаг, пришла просить любую работу.

Начальница отдела кадров, взглянув на мой диплом, удивилась:

– А почему к нам? Вам, с вашим образованием…

– Я пыталась.

– Ну, что ж… Могу предложить вам место архивариуса второй категории.

– Что мне придётся делать?

– О, ничего сложного! Расстановка карточек каталога по алфавиту.

– А более сложной работы у вас нет? Ведь с этой мог бы справиться мой четырехлетний сын.

– У нас все начинают с неквалифицированной работы. Потом, с годами, когда вы вживетесь в наш коллектив, когда мы получше узнаем вас…

– Зачем же я шесть лет училась?

– Как хотите. Я вас не неволю.

Я сидела в мучительной растерянности, с тоской глядя сквозь узкое, как бойница, окно на глухую стену архивного хранилища. В который уже раз эта глухая, без окон, без единого просвета стена оказывалась передо мной. Но всё казалось: обойду, обогну… И вот уперлась в неё снова. И на этой стене – огромные, полные отчаянья и тоски, твои глаза… Господи, что же мне делать? Душная, тоскливая безнадежность вместе с запахом старых бумаг обступила меня со всех сторон…

– Оклад шестьдесят рублей. Конечно, это не много, но лучше, чем ничего. Работа пять дней в неделю, с девяти до шести.

Хватит ли тебе, сынок, кирпичиков на веранде?…

– Я могу рассчитывать на один библиотечный день в середине недели? У меня ребёнок…

– Неквалифицированным работникам библиотечные дни не полагаются.

– А на укороченный день?

– Поговорите с директором. Но, скорее всего, она вам откажет. Коллектив у нас женский, у многих дети. Если каждая потребует укороченный день, то вы сами понимаете, что из этого получится.

– Я понимаю…

– Ну, что, вы согласны?

– У меня нет другого выхода.

Я вышла из этого кабинета с чувством мучительной вины и тоски. «Бедный мой, бедный…» В руках у меня был свеженький пропуск. Завтра, к восьми тридцати, я должна была явиться в это мрачное здание с узкими окнами и вступить в должность архивариуса второй категории…

* * *

И замелькали пустые, похожие один на другой, дни… Десятки, сотни, тысячи карточек перед глазами… Неужели это можно выдержать неделю, месяц, несколько лет?…

Комната, в которой я сидела, была узкой и тёмной, как почти все комнаты этого здания. Весь день горел свет, тоскливая желтоватая лампа под потолком. Здесь то и дело устраивались перекуры и чаепития, здесь жили непонятной, кипучей и бессмысленной жизнью: говорили о тряпках и болезнях, с жаром обсуждали последние архивные сплетни и, с не меньшим жаром,

– подробности интимной жизни писателей, художников и артистов, чьи архивы лежали штабелями в запыленных сейфах. С аппетитом зачитывались за очередным чаепитием выдержки из письма такого-то к такой-то… Неужели это можно выдержать ещё день?

– Что-то наш новый работник не спешит слиться с коллективом, – слышала я в свой адрес.

– Я не курю.

– Ну, чайку с нами попейте, вот пирожные, угощайтесь.

– Спасибо, мне не хочется.

Я закрывала глаза – и видела твоё бледное, исхудавшее личико, твои тёмно-золотистые, полные осенней печали, глаза… Крепись, мой хороший, я что-нибудь придумаю. Что-нибудь придумаю…

Я тосковала по тебе не меньше, чем ты по мне. Кончились наши выходные в середине недели, кончились твои укороченные дни. Теперь мы жили *как все*: на обратном пути из детсада – магазин, ужин на скорую руку, несколько устало оброненных фраз… Ты очень уставал за день, и к восьми глаза у тебя слипались.

Уже засыпая: «Давай скорее улетим на Маль… На Мале нет этих садиков, и мамам не нужно ходить на работу. Там люди просто живут…» – «Хорошо бы, сынок…»

Пошла всего вторая неделя, как я ходила на работу, но жизнь утратила свои привычные краски и запахи. Остался только мышиный запах архива, этой тёмной сырой норы, в которой я сидела долгими осенними днями, согнувшись над каталожными ящиками, остался тошнотворный запах пригорелого молока, от которого мы оба содрогались каждое утро, входя в двери детсада, остался горький запах догорающих костров нашей пятой осени… А из всех красок – только зеленоватая бледность твоего лица с глубокой синевой под глазами, да чернеющие листья на мокрой дорожке, по которой я каждое утро уходила от тебя. Куда?… Зачем?…

В детсаду тебе по-прежнему не давали проходу, по-прежнему «стукали». И наконец твоё терпение лопнуло. Устав от пинков и тумаков, ты стал давать сдачи.

Однажды, придя за тобой, увидела, что все играют, а ты стоишь… в углу! И при этом мило беседуешь с Любовью Петровной.

– Не могу понять, что с ним случилось такое, – развела она в растерянности руками. – Такой тихий всегда был… А тут Ваню побил, Лену ударил. Она, конечно, задира… но всё-таки девочка.

Вот, пришлось изолировать.

– Так хорошо в углу отдохнул, – сказал ты. – Никто меня там не стукал.

– Научился давать сдачи? – спросила я, не зная, радоваться этому, или огорчаться.

– Пришлось, – улыбнулась ободряюще Любовь Петровна. – А иначе ведь заклюют. Им ведь только подраться, только бы поколотить кого-нибудь. Возраст такой. Энергии много, а ума мало. Ничего их не интересует, только драка.

Мы идем под моросящим дождем, идем к дому, где нас никто не ждет, и ты спрашиваешь:

– Ну, как твоя работа? Сколько карточек сегодня насчитала?

– Не спрашивай, Антончик. Они у меня перед глазами до сих пор мелькают… Расскажи лучше, как ты жил.

– Сегодня нам на завтрак давали такую кашу… Ее волшебная птица варила.

– Ну, и как, вкусная?

– Вкусная… – неуверенно говоришь ты. – Только я её всё равно вырвал.

Мы медленно идем к дому под моросящим дождем, в моей руке твоя маленькая горячая рука, и уже от этого я чувствую себя почти счастливой. Почти…

Я сжимаю её так крепко, словно боюсь потерять тебя, так крепко, что ты невольно вскрикиваешь:

– Ой, больно!

– Прости, сынок…

Медленно идем под моросящим дождем, по пустынной аллее, по мокрому тротуару, по жёлтым, по красным, по чёрным пятнам палой листвы…

Ты говоришь:

– Сегодня на занятии был великий расспрос: кто кем будет, когда вырастет?

– И что ребята отвечали?

– Кто-то милиционером, кто – солдатом. Девочки портнихами захотели быть. Кто-то ещё кем-то, не помню…

– А ты?

– А я сказал: «Хочу быть писателем».

И, помолчав, добавил:

– И меня побили.

– За что?

– Не знаю.

– Но ты хоть защищался?

– Конечно. Только они сразу со всех сторон бьют.

– Их было много?

– Трое. Ваня Антоненко и ещё двое какие-то.

– Ты что же, не знаешь, как их зовут?

– Не помню… Они все одинаковые. Такие у всех лица круглые, как яйцо.

– А Ваню как запомнил?

– Он самый злой.

Ты говорил это почти спокойно, и твоё спокойствие пугало меня больше, чем слезы: ты начинал привыкать – к тому, что бьют, к тому, что их всегда больше…

– А я про этого Ваню стишок сочинил! – неожиданно весело сказал ты. – «Стихи про Ваню Антоненко». Слушай!

Надоел мне этот Ваня,
Не могу я вам сказать!
Я считать могу всего лишь:
Раз, два, три, четыре, пять!
А потом начну считать я
До двух тысяч восемьсот!
Чтобы кушать очень много,
Я тебе не бегемот!
Я тебя могу так стукнуть,
Даже Ваня упадет!
У меня больной желудок,
Не могу я много есть!
Я считать уже умею
И могу сто книг прочесть!
Обойдусь я и без драки
И без Вани-забияки!

Ты звонко напевал свой стишок, идя вприпрыжку по мокрой дорожке. Я смотрела на твоё худенькое задорное лицо, и думала о том, что всё равно ты сильнее их, сколько бы их ни было!

– А когда ты будешь книгу про Клоуна писать? – неожиданно спрашиваешь ты.

– Ох, Антончик… Не знаю. Ни на что теперь нет времени.

– Давай я твои карточки все быстро-быстро посчитаю!

– Милый ты мой!…

* * *

…Было ветрено и зябко. Ты сидел на веранде, грустно глядя на хлопающую калитку сада… Увидев меня, ты не бросился, как обычно, мне навстречу, а остался всё в той же позе нахохленного воробышка.

– Что с тобой, сынок?

– Так…

Я коснулась губами твоего лба – он был горячий.

– Что-то уж больно скучный он сегодня, – послышался голос Евдокии Васильевны. – Всё сидит и сидит молчком, даже про Самлюмбию свою не рассказывает.

Она возникла рядом тучным облаком, и от её присутствия стало душно.

– *Самболюнию,* – тихо поправил ты, не взглянув на неё.

– Пойдем, сынок?

Ты нерешительно поднялся с лавочки, как во сне, с тоской посмотрел на меня, и я поняла, что ты совсем болен. Я подхватила тебя на руки и понесла домой. Ты утомленно прикрыл глаза и уткнулся лицом в моё плечо.

– Совсем плохо, сынок?

– Не совсем… – еле слышно прошептал ты.

Дома, едва успела раздеть и уложить тебя в постель, как мучительная дрожь охватила тебя, тельце покрылось гусиной кожей, ты скрутился калачиком под двумя одеялами, но они не могли тебя согреть. Ртутный столбик в градуснике, сунутом тебе под мышку, мгновенно ускочил за сорок… Господи, что же это?! «Сынок, побудь без меня минуточку, я сейчас… я быстро… за врачом…»

Выбежала из подъезда – и не поверила своим глазам: на аллейке у нашего дома стояли и оживленно беседовали две женщины, одна из них – твой участковый врач. Я бросилась к ней, не помня себя от радости и отчаянья:

– Зоя Петровна! Какое счастье, что вы здесь! Антоше плохо… Пожалуйста, помогите!

Она удивленно взглянула на меня, не понимая, чего я от нее хочу.

– Простите, что отрываю, но ему совсем плохо…

Недоумение на её лице сменилось нескрываемым раздражением.

– Мой рабочий день уже кончился, – отчеканила она.

– Умоляю, взгляните на него, ведь это одна минута… – с содроганием услышала я в своем голосе жалкие, просительные ноты.

Но она уже отвернулась к своей приятельнице, и они продолжали прерванную мной беседу.

– Что же мне делать?!

– Вызывайте «скорую», – бросила через плечо она.

– Но ведь вы здесь, рядом!

Она даже головы не повернула в мою сторону.

Я бежала к телефону-автомату; душили слезы…

* * *

…Ты болел долго и тяжело. Уже облетела вся наша пятая осень, почернело под дождями её золото, уже белые мухи кружились по утрам за нашими окнами, а ты всё никак не мог прийти в себя…

Вначале за тобой ухаживала бабушка, которая очень боялась, что моё архивное начальство будет недовольно тем, что мы с тобой сразу заболели. Но бабушка не могла быть с тобой бесконечно: у неё было своё строгое начальство. Я сменила ее, и мы узнали, что значит «сидеть на больничном» (пять дней на бюллетене и месяц на справке), мы узнали, каково получить зарплату 5 рублей 20 копеек!

– Ого, как много! – обрадовался ты.

Но мне пришлось тебя огорчить.

– Возьми бумагу и карандаш, – сказала я тебе, – и подсчитай, сколько мы тратим в месяц на хлеб и молоко. Приблизительно.

Произведя подсчет, ты растерянно, почти испуганно взглянул на меня: «Как же мы будем жить?»

– Бабушка, надеюсь, выручит, а вообще… Не можем же мы сидеть на шее у бабушки.

– Не можем, – согласился ты.

Уже кружились по утрам белые мухи…

При одном воспоминании о детсаде у тебя подскакивала температура и тебя начинало лихорадить. По-прежнему при виде тарелки с едой ты закрывал глаза, рот, уши… По ночам ты порой просыпался в слезах, с криком: «Не надо! Не надо!…»

Врачи, по которым нам пришлось походить за это время, пришли к единому мнению: «Ребенок недетсадовский. В саду он не привыкнет».

Уже кружились за окном белые мухи… Осень, долгая, как жизнь, подходила к концу. И опять вставал всё тот же вопрос: «Как жить дальше?…»

Мир не без добрых людей.

Один из моих институтских преподавателей, прознав про наши беды, поднял телефонную трубку и за полчаса нашёл для меня работу. В одном издательстве мне опять стали давать рукописи на рецензирование. К нашей величайшей радости, я распрощалась с архивом, не успев дослужиться до архивариуса первой категории…

Конец ноября, с его ненастьями, холодным мраком, едва не лопающимися от ветра стеклами, это самое мрачное время года – для нас с тобой самое уютное, уравновешенное, самое творческое. Нам нравится, что поздно светает и рано темнеет, мы оба любим сумерки и снег с дождем… В ненастье хорошо пишется. Я ложусь в два часа ночи, а встаю в шесть утра. Иногда засиживаюсь за машинкой до восьми утра. Ты уже встаешь, а я только ложусь вздремнуть.

– Что ты пишешь? – спрашиваешь ты.

– Повесть о Клоуне.

– А что больше повести?

– Роман.

– Тогда я буду писать роман! О Машинном городе.

И вот мы работаем вдвоем. Яростно, самозабвенно пишешь ты страницы своего «романа», одна за другой выпархивают они из-под твоей руки… Разве мне угнаться за тобой?…

Ты и во сне не перестаешь думать, сочинять. А утром, едва проснувшись, вскакиваешь и спешишь записать то, что увидел во сне.

– Ложусь спать и вижу следующую серию, – говоришь ты. – Я во сне путешествую в Машинный город, а утром пишу следующую главу о своем путешествии!

Поработав на свежую голову над своим романом, ты усаживаешься поудобнее в кресло-качалку и берешься за книгу. Чаще всего это Маршак, которого ты особенно любишь в эту осень. И хотя ты давно умеешь читать про себя, но Маршака ты читаешь на полную громкость, с чувством, с упоением. И это упоительное чтение приходится как раз на то время, когда я, управившись по хозяйству, сажусь за машинку – за свою повесть.

Так и работаю – под Маршака. Но, странное дело, мне это нисколько не мешает – как не мешает музыка ветра и дождя за окном…

И всё это – монотонный стук дождя по стеклу и весёлый стук машинки, твой вдохновенный голосок и зарождающаяся мелодия повести – всё это сливается для меня в неповторимую музыку

этой осени, которая остается во мне навсегда…

Глава 12
Метель жаворонков

Крупные снежные хлопья ласково вьются в воздухе, точно белые бабочки, точно маленькие пушистые птенцы… В Латвии эту метель называют метелью жаворонков…

Мы идём по мартовской аллее, и ты напеваешь свои стишки, которые сочиняешь тут же, на ходу:

Листья жёлтые, сентябрь,
Семьдесят девятый год.
Листья чёрные, декабрь,
Семьдесят девятый год…

Хотя уже март восьмидесятого. А с *той* весны – уже шесть лет. Сквозь метель – мне видятся синие глаза моего отца… распахнутое окно на шестом этаже больницы Страдыня… окно на окраине Риги… смеющийся молодой голос… «Пока!» – кричит отец и машет мне рукой, «Пока!…»

Всю жизнь я мечтала о нём. И хотя в раннем детстве видела его всего лишь раз, но жила во мне странная, непонятно чем питавшаяся уверенность: он любит меня. Он помнит обо мне. Наверное, моя тоска была ответом на его тоску, и была, была, я не могла это выдумать, существовала между нами связующая ниточка, то ослабевая, то напрягаясь до предела – но никогда не прерываясь! Он, далёкий, думал обо мне, и я, просыпаясь по утрам, шептала: «Доброе утро, папочка!»

Но его не было рядом. Ни любовь мамы, ни ласковая забота бабушки не могли меня оградить от этой пустоты.

Мне ничего не говорили о моём отце: ни что он плохой, ни что хороший, ни что он оставил нас, ни что скоро вернется. Мне, таким образом, была предоставлена полная свобода: мечтаний, домысливаний и – надежд…

Я любила рисовать в своем воображении образ незнакомого прекрасного отца (почему-то непременно в шинели моряка или летчика, хотя знала, что отец у меня сугубо штатский) и картины полусказочной жизни, носящей символическое название: «Если бы у меня был папа…»

Безотцовщина нашего поколения – поколения послевоенных детей – была иной, чем безотцовщина сегодняшних мальчишек и

девчонок. Она была окрашена в героические, романтические тона. Наши отцы умирали от ран и осколков, с которыми вернулись с войны, они гибли в лагерях (это называлось «папа уехал по работе, очень далеко»), но даже если они просто, банально уходили от нас – они всё равно уходили в легенду. Такое было время. Время, когда мы бегали в байковых шароварах и суконных ботинках, не представляя, что может существовать какая-то другая одежда; время, когда случалось, что мальчишки подрывались на гранатах, когда девчонки играли самодельными тряпичными куклами; время, когда мы зачитывались «Военной тайной» и «Судьбой барабанщика», играли на задворках в русских и немцев, плакали над «Оводом» и бегали в кино на «Чапаева». Это время работало на наших отцов. И если Колька во дворе, захлебываясь, рассказывал о своем отце, полярном летчике, погибшем во льдах Арктики, никому из слушателей и в голову не могло прийти засомневаться в правдивости колькиного рассказа, хотя всему двору доподлинно было известно, что этот самый отец – последний пропойца, который бросил Кольку с больной матерью, а сам ушёл к Маньке-торговке-килькой… Впрочем, на случай разоблачения у Кольки было наготове железное опровержение: этот, который пьяница – это отчим, Колька его сам и выгнал, а настоящий отец – тот погиб во льдах. И Колька рос сыном героя, обожая своего легендарного отца…

Безотцовщина наших, сегодняшних детей стала обыденной и всеобщей – как грипп в ноябре. Всё буднично и просто: ни ран, ни осколков. Где уж тут место для легенд?… Вряд ли мы услышим теперь во дворе, как какой-нибудь Димка «заливает» про папу-летчика или папу-капитана дальнего плаванья… Будничность трагедий. Серая, унылая. Но если трагедия лишена резких, ярких красок, перестает ли она от этого быть трагедией? Мы – свидетели того, как трагедия постепенно выродилась в анекдот.

Самый страшный анекдот нашего времени, его мне, смеясь, рассказала подруга, когда мой сын был ещё кроха, а я уже терзалась: «Что я скажу ему, когда он спросит?…»

– Не переживай, – успокоила меня подруга. – Теперь дети задают совсем другие вопросы. Слушай. Приходит Миша домой и говорит маме: «А у Вовки нет папы. И у Димки нет папы. И у Светки нет папы! И у Женьки нет папы!… А нам зачем папа?» Вот так-то!… – смеялась моя премудрая подруга.

Правда, детей у неё в то время ещё не было.

Странно, но те полгода (или год?), которые отец прожил с нами, неожиданно появившись в моей жизни – как будто возник из моих мечтаний – почти не оставили по себе памяти. Несколько

ярких вспышек-воспоминаний…

Мне пять лет. Мы с бабушкой приезжаем в город Чкалов, отец с мамой встречают нас на вокзале. Сверкающий, мокрый от дождя перрон. Сверкающая майская зелень. А у дома, куда нас привозит такси, – непролазная грязь. Отец подхватывает меня и несет в дом на руках. Первый раз в жизни отец несет меня на руках!…

Лето. За домом – цветущая степь. Травы так высоки, небо такое огромное, какое бывает только в степи. Мы с отцом валяемся в траве, под этим огромным небом, дурачимся и хохочем… Отец встает на четвереньки, я влезаю к нему на спину, понукаю, и он, как сильный и добрый конь, везет меня, хохочущую от счастья, по этой цветущей чаще…

Вот и всё. Что ещё было? Не вспомнить. Но осталась – на всю жизнь – память о счастье. Вкус счастья.

А потом была осень. За окном – чёрная степь, мрачное, низко нависшее небо. Я стою у окна, в комнате сумерки, ко мне подходит отец, он в пальто и шляпе, наклоняется и целует меня. Горький испуг: отец, такой большой и сильный, и он плачет! Он идёт к двери, я хочу окликнуть его, хочу спросить… Хотя о чём спрашивать, когда и так всё ясно?…

Он уехал. Я догадывалась, что – навсегда. На языке взрослых это называлось «разбитую чашу не склеишь». А через год или два, уже не помню, отец приезжал поглядеть на меня. Я шла в школу, была зима, он провожал меня, мы о чём-то говорили… Потом попрощались, теперь уже действительно навсегда…

И опять, опять сплелась между нами ниточка… Временами в ней возникало такое высокое напряжение, что я начинала ждать прихода отца с минуты на минуту. Хотя знала, что он – далеко, в другом городе. Но ведь он приходил однажды! Значит, мог прийти ещё раз, в любой день, в любую минуту. Я боялась выйти из дому, боялась уйти в соседний двор, где жили подружки, всё казалось: я уйду – а он придёт, и мне не скажут…

Но шли годы, а отец больше не приезжал.

Но кто, не испытав при этом мучительных сомнений, скажет, что лучше: три воспоминания – или вообще ничего? Тоска по отцу – или отсутствие этой тоски? Не знаю. Я ни за что не променяла бы свои три воспоминания и свою тоску – на счастливое неведенье и покой.

А ты – не тоскуешь. Ты говоришь: «Как хорошо вдвоем!»

Но я не могу безоглядно радоваться нашей жизни-вдвоём. Я вглядываюсь в твоё светлое лицо и всё жду от тебя вопроса: «Почему нас только двое?» Что я тебе отвечу? Завтра – или через

год? Как объяснить предательство? Как набраться духу, чтобы сказать: «Твой отец бросил тебя, когда тебе было двадцать пять дней»? Как набраться духу, чтобы сказать ещё более трудную вещь: я рада этому. Рада, что он ушёл. Что не пришлось жить во лжи.

Наверное, настанет время, и мне придётся сделать горькое признание: твои родители не любили друг друга. Ты спросишь меня: разве не от любви рождаются дети? От любви, сынок. Но не только от любви. Ещё они рождаются от отчаянья и одиночества. Рождаются от надежды на любовь. От надежды, что общие заботы о маленьком и беспомощном существе могут сделать двух чуждых друг другу людей близкими и родными. Порой так бывает. У твоих родителей этого не произошло…

Наверное, настанет время, и ты спросишь: как так случается, что двое чужих оказываются под одной крышей? Действительно, как? Как и когда человек перестает верить в чудо, перестает искать и ждать свою половинку, надеяться на встречу с ней? Так просто разминуться, так легко обознаться… Трудно не отчаяться, если поиски и ожидание затягиваются на годы и годы… Как не поддаться при этом на многочисленные приманки самообмана?… Нашедшие друг друга выглядят счастливым исключением. Наверное, так было прежде; наверное, так будет всегда. Об этих счастливчиках говорят: «Повезло», – хотя и не знают, чего стоило им это везение, чем они за него заплатили. Ну, а как быть тем, кто не оказался в счастливчиках: не удостоился, проморгал свою удачу, прошляпил?… А как быть тем, кого не разглядели, кто остался неузнанным?…

Я знала: мне не суждено стать исключением. Почему? Да по той простой и обыденной причине, что тот, с кем это было возможно, давно уже стал мужем другой женщины, и они, худо-бедно, растят общих детей. «Общая кухня, общие дети…»

Пусть и у меня будет дом, пусть и в моём доме пахнет пелёнками…

Кто позовёт – за того и пойду. Стерпится – слюбится, старая горькая мудрость. Мудрость ли?… Словно в насмешку над моей наивной надеждой, позвал тот, с которым – ни слюбиться, ни стерпеться…

Снег то утихает, то налетает новым облаком, сыплет, сыплет пушистыми жаворонками… Я говорю:

– В Латвии такую метель называют метелью жаворонков… Мне так хочется туда – с тобой.

– Ну, так поехали, если хочется! – говоришь ты.

– Когда-нибудь съездим…

И вдруг ты круто разворачиваешься и с криком «Бежим, бежим скорее!» несешься в глубь сквера. Только пятки сверкают.

– Антон, погоди! Ты куда? – бегу я за тобой. – Ну, погоди же!

Я догоняю тебя, а ты, схватив меня за руку, тянешь дальше:

– Скорее! Скорее от этого папыбори!

– Где ты его увидел?

– Там – у «Союзпечати»!

– Чего ж ты испугался?

– Я не испугался, – ты пожимаешь плечами. – Просто…

– Всё-таки он твой…

– Это не папа – а папка для бумаг! – смеёшься ты в ответ.

– Бежим скорее!…

– Успокойся, не будет он за нами гнаться.

Но, повинуясь тебе, я ускоряю шаг. Сквер кончается, начинаются заснеженные дворы, и только когда мы оказываемся довольно далеко от «Союзпечати», где нас поджидал незваный гость, ты сбавляешь темп, и, остановившись у скамьи, заваленной сугробом, начинаешь лепить снеговичков. Снег мягкий, тёплый, лепится, как глина. Ты раскраснелся от бега и стал похож на румяное яблоко. Яблоко, облепленное снегом… Ты уже забыл о недавней встрече, и мне не хочется напоминать тебе о ней, но, сделав над собой усилие, я всё же говорю:

– Он пообщаться с тобой приходил. Наверное, соскучился.

– А я не соскучился, – говоришь ты и заливаешься смехом: – Смотри, смотри, какой у него нос получился! Как труба!

Я с облегчением вслушиваюсь в твой смех, всматриваюсь в твоё оживленное лицо. Ты во всём разобрался, всё понял. Ты сделал свой выбор.

Когда я решилась на вашу встречу, я сказала себе: ни одного резкого слова… Ты должен сам решить: нужен он тебе или нет. Я предоставила тебе свободу решения. Я старалась не мешать вам. Я уходила из дому, оставляя вас вначале с бабушкой, а потом и наедине: общайтесь. А возвращаясь домой, заставала одну и ту же картину: ты играл на ковре, в своем городе, в своем волшебном африканском лесу, а папаборя сидел, углубившись в книгу или в бумаги, вольготно расположившись в кресле, и, по своему обыкновению, покачивая ногой. Ох, это довольное покачивание ногой!…

Он не забывал напоить себя чаем и, порывшись в шкафу и холодильнике, найти что-нибудь вкусненькое, припасенное для тебя. Правда, он забывал напоить чаем тебя… Однажды я не выдержала. «Здесь не изба-читальня!» Он искренне удивился: «Не могу же я тратить время зря…»

Я хотела дать ему возможность проявить себя, чтобы хоть

как-то утвердить его в твоих глазах: «Поставь нам, пожалуйста, звонок на дверь»… Запах горелых проводов долго не выветривался из дома, а всем знакомым ты весело сообщал: «А папаборя чуть пожара нам не сделал!»

Я хотела дать ему возможность сделать тебе маленький подарок, чтобы хоть что-то напоминало тебе о нём во время его полугодовых отсутствий. «У Антона лопнул плавательный круг. Можешь ему подарить…» – «Я не желаю покупать любовь сына!» – торжественно произнес он, словно реплику из старой-престарой пьесы…

А потом ты долго болел, и врачи посоветовали свозить тебя на юг, погреть на солнышке. Денег не было. Кое-что давала мама, что-то я должна была получить за рецензии, но полсотни, как ни крути, взять было неоткуда. И когда в очередной раз папаборя нанес нам визит, я с трудом выговорила: «Дай нам, пожалуйста, взаймы рублей сорок. Через месяц верну». О, что тут началось!… Ты с удивлением и опаской смотрел на человека, бегающего по комнате, размахивающего руками и захлебывающегося гневным монологом… Он кричал, что у него нет ни копейки, что он сам весь в долгах, – это было так скучно… Вспомнилось, как принесла тебя из роддома, а в доме не оказалось… пелёнок! «У меня нет денег на пелёнки!» Анекдот.

…Когда мне надоело это мельтешение перед глазами и эти крики с пеной у рта: «Как тебе могло прийти в голову просить у меня денег?!», я сказала: «Это была шутка». Я вышла в прихожую, где стояли его туфли, открыла дверь и выбросила их за порог. Вслед за своими башмаками выкатился папаборя…

Когда дверь за ним захлопнулась, ты сказал: «Пусть он к нам больше не приходит».

Он и сам не появлялся очень долго. И вот теперь эта встреча у киоска. Значит, ты ничего не забыл, и твоё решение было твердым. Ты сделал свой выбор.

* * *

…Первое, что поразило меня, когда я приехала двенадцать лет назад в Москву, были справочные бюро. В окошке – реклама: «Вы можете узнать адрес любого жителя любого города…» Неужели так просто? Город я знала, год рождения приблизительно тоже. Неужели так просто?

Через десять дней мне выдали бумажку с адресом. Это было

невероятно. Несколько дней собиралась с духом. Неужели можно написать ему письмо и получить ответ? Письмо от отца! Невероятно…

Сидела на почтамте, рвала одну страницу за другой. Наконец, написала совсем коротко и бодро, что живу я хорошо, что наша семья переехала в Москву и я поступаю в институт. Через неделю пришёл ответ. Я его читала в том же гулком и прохладном зале почтамта на Кировской. Письмо было полно восклицательных знаков, радости, удивления и благодарности. Я почувствовала укол ревности, узнав, что там, в Одессе, у меня есть ещё две сестры. В ответ написала, что у меня тоже есть сестра, замечательная девочка, что родители нас обоих очень любят, и вообще у меня всё прекрасно.

За вторым письмом пришла через три недели. Сдавала экзамены. «Ну, где же вы были, девушка?! Почему вы так долго не шли?!» – воскликнула женщина в окошке «До востребования». Она протянула мне толстую пачку писем. «Он так ждал вас! Целую неделю просидел здесь, у окошка. И всё писал, писал… Где же вы были?»

Пальцы не слушались, когда вскрывала конверты… В каждом: «Где ты? Почему ты не приходишь? В адресном столе нет твоего адреса. Неужели мы так и не увидимся?…» «Через час мой поезд… Неужели я так и уеду, не увидев тебя?…»

Он уехал. Мы так и не увиделись. Мы написали друг другу ещё пару писем, но с каждым разом писать было всё труднее: сведенья друг о друге исчерпались, а говорить о главном мы оба боялись. Я хотела, но не решалась задать ему один, очень мучивший меня вопрос, а отец, я чувствовала это по нарочито бодрой интонации его писем, боялся его услышать. Мы ходили вокруг да около. В сердце было одно, а на бумаге выходило совсем другое.

Эта игра в непринужденность вскоре утомила нас, и переписка наша стала увядать…

Где-то жил отец, теперь это «где-то» обрело конкретные очертания. Можно было даже помечтать: когда-нибудь сяду в поезд… Отец писал, что прекраснее всего Одесса осенью. А ещё она необыкновенно хороша в мае, когда цветут каштаны и белая акация… Он звал меня в гости.

Мое сообщение о том, что я хочу съездить к отцу, домашние восприняли болезненно. Настолько болезненно, что мне пришлось отказаться от этой мысли. Если не навсегда, то во всяком случае надолго.

В Одессу я не поехала. Объяснить отцу причину я не могла. Переписка наша, не успев стать жизненной необходимостью,

увяла окончательно…

* * *

…И вот я стою под окнами операционной – там, в Риге, в апреле, в клинике Страдыня…

Операционная на низком втором этаже. Окна огромные и не закрашенные. Я вижу хирургов и медсестер. Они видят меня. Изредка кто-нибудь из них машет мне рукой: мол, не стой здесь, иди! Но я стою и не ухожу.

Операция идёт уже седьмой час. На операционном столе – мой отец. Уже сменилась бригада хирургов, и солнце поднялось высоко над кронами старых деревьев, а я всё стою под этими окнами, скованная ожиданием.

Резкий ветер поднимает холодную, едкую пыль.

Не могу двинуться, не могу оторвать взгляда от окон, кажется, стоит мне отлучиться со своего поста – и случится что-то непоправимое.

Оглушительно кричит вороньё… И всё это терзает и мучит – и яркое солнце, и пыль, и птичьи крики. Клиника Страдыня. На окраине Риги.

* * *

Мы не виделись с отцом семнадцать лет…

Последняя наша встреча, когда это было? В Оренбурге, тогда он ещё назывался Чкалов. Мне семь лет. Отец подошёл ко мне на улице, когда я, выйдя из дому, направлялась в школу. Я не сразу узнала его, ведь до этого мы уже года два не виделись, и я успела забыть его голос, его лицо и привыкла другого мужчину называть папой. Но ласковое, незабытое «доця» (так называл меня только отец) вернуло мне память…

Мы идем с ним по белой дороге, залитой солнцем, под ярким синим небом, среди огромных, почти с отцовский рост, сугробов (неделю мело так, что мы, первоклашки, не ходили в школу). Рука отца крепко и ласково сжимает мою, я и сквозь варежку чувствую её тепло.

А глаза у отца – синие-синие, даже голова кружится, если

долго смотреть в них – как будто улетаешь в небо…

Не помню, что мы сказали друг другу на прощанье.

Так он и остался у меня в памяти – на той белой дороге, залитой январским солнцем… Солнце бьет в глаза, искрятся и слепят сугробы, я пытаюсь рассмотреть и запомнить его лицо – и не могу…

Мы прощаемся, я тороплюсь в школу, отец – на вокзал, мы расходимся в разные стороны, расходимся, но поминутно оглядываемся и машем друг другу рукой…

Могла ли я знать тогда, что в будущем у нас – только клиника Страдыня под холодным рижским небом?…

Почему мои родители разошлись? Этого никто не мог объяснить толком.

Так вышло, что мама в ожидании меня (да, да, меня! ведь оба они хотели девочку) приехала из маленького городка на Донбассе, где они с отцом работали после окончания техникума и где они поженились, в Днепропетровск – к больной матери, моей бабушке. Бабушка не так давно вернулась из немецкого концлагеря, была ещё очень слаба и жить одна не могла.

Отца с работы не отпустили. Времена были послевоенные, суровые, отец должен был отработать положенные три года, невзирая на семейные обстоятельства. Никакие просьбы и письма в министерства не могли помочь моим будущим родителям в устроении их личной жизни. В стране была разруха, и прежде всего надо было восстанавливать производство. До разбитых ли сердец было в ту пору министерствам?…

Так я – желанная дочь – появилась на свет вдали от отца.

Когда мне было два года, а отцу двадцать три (господи, совсем мальчишка ещё!) на заводе, где он работал, в его цеху произошёл взрыв. И отец, как сменный мастер, попал под неумолимую железную метлу, которая не разбирала виноватых и невиновных…

Возвращаясь после амнистии, отец, стыдясь своего зэковского ватника, под которым ничего, кроме худых мальчишеских ребер, не было, и разваливающихся башмаков на босу ногу (всё, что можно было снять и продать, было продано в дороге за папиросы), проехал мимо города, где его так ждали! И тем, что он проехал мимо, – всё было решено.

Отец вернулся в маленький городок на Донбассе – к родителям, и те, истосковавшись по любимому сыну, уже не отпустили его от себя. Он был преданным сыном своих родителей, мой отец, – верным и любящим, каких поискать. Мой отец… Так и не ставший *моим*. Он сделал свой мучительный

выбор, который всегда – жестокость: ведь, выбирая одного, – от другого неизбежно должен отречься. И он отрекся от тех, кого считал более способными пережить его отречение…

И вот я стою теперь под широкими окнами операционной, на пронизывающем сквозняке, поражённая шоком ожидания. Ледяная пыль уже не только на губах, но и на сердце.

Сегодня двадцать первый день моей жизни в Риге. О том, что отец лежит в рижской клинике в ожидании третьей (третьей?!) операции на сердце, он сообщил мне сам. Прошло четыре года, как угасла наша переписка.

И вдруг – почтовая открытка с видом Домского собора. Несколько торопливых строк без знаков препинания. И подпись: «папа».

На этот раз уже не раздумывая и не спрашивая ни у кого разрешения, собралась, написала отцу, что еду, и в тот же вечер вошла в поезд «Москва-Рига». Лишь одна бессонная ночь в душном купе отделяла меня от отца. Семнадцать лет – и одна бессонная ночь…

Приехала рано утром. Остановилась у знакомых. Забросила вещи и тут же помчалась в клинику.

В клинике день и час были не приёмными. Долго объясняла дежурной, плохо понимающей по-русски, что я из Москвы, что отца не видела семнадцать лет и потому не могу дожидаться приемного дня, не могу! Когда до неё дошёл наконец смысл моих слов, добрая женщина даже прослезилась, выдала мне белый халат, и позвонила в отделение, чтобы отца приготовили к встрече.

Поднимаюсь на шестой этаж. Сердечная хирургия. Пустые коридоры. Жду, как мне кажется, ужасно долго. И где-то на дне души холодит страх: как мы встретимся? Что я скажу ему? Я – когда-то желанная дочь, а теперь – незнакомая ему женщина? Узнаю ли я его? Я пытаюсь вызвать в памяти детское воспоминание – пытаюсь вспомнить его лицо – и не могу, вижу только белую снежную дорогу, залитую солнцем, и тёмный силуэт вдали…

Наконец в конце коридора показалась высокая мужская фигура. Он? Высокий, худой, темноволосый. Идет медленно (или мне кажется, что медленно?), как будто превозмогая боль. Вот приостановился на мгновение (что с ним? ему плохо?!), хочу побежать ему навстречу, но ноги не слушаются, стою, точно пригвожденная к полу, не в силах сделать ни шагу.

Как медленно он приближается ко мне! Неужели это мой

отец? Такой молодой?… По-юношески стройный и легкий, даже в больничном одеянии элегантный, и такой молодой! Ах, да… я ведь была у них ранним ребёнком. Темные, откинутые назад волосы, светлое, залитое смятением лицо… И такая мука, такая радость в синих, нестерпимо-синих глазах… Господи, это мой отец!

– Доця! Доця, родная…

…Нам было отпущено ровно двадцать дней – солнечных, снежных, прекрасных весенних дней, за которые мы успели прожить всю нашу жизнь заново – теперь уже вместе. Кажется, и не разлучались никогда…

Каждый день шёл снег – огромные, лохматые хлопья медленно кружились в воздухе… А то вдруг налетали, как вихрь! Настоящая метель!… «Метель жаворонков» – так называют её латыши. Жаворонковая метель…

Это было очень красиво – вихри белых, стремительных жаворонков, они закрывали весь белый свет, вернее – они-то и делали его белым: черепичные крыши старых больничных корпусов, деревья под окнами палаты, тёмные шпили костела – всё становилось белым, мохнатым, пушистым…

Что я знала о нём до этой встречи? Да, собственно говоря, ничего. Помнила: синеглазый и высокий. Знала по маминым проговоркам: взрывчатый, упрямый, обидчивый. «Вся в отца!» – особенно часто слышала я это в пору переломного возраста. И говорила себе: «Ага!… значит, и он такой!» Я гордилась своим упрямством – так хотелось хоть чем-то походить на отца!… Помнится: в детстве, как все дети, я терпеть не могла лук в супе. Но однажды бабушка сказала: «А твой папа любит вареный лук». Пересиливая отвращение, я приучила себя его есть. И была вознаграждена, услышав желанное: «Вся в отца!» Наверное, если бы мне сказали, что мой отец ходит по проволоке, я бы научилась ходить по проволоке…

Что я помнила? Встречу в Чкалове – отец несет меня на руках… Цветущую степь за домом – я верхом на отцовской спине… Но чаще всего в моей памяти возникала сверкающая на солнце тропинка – и тёмный силуэт вдали. Мы расходимся всё дальше – но всё оглядываемся и машем друг другу рукой…

Отец, с грустью и радостью вглядываясь в моё лицо: «Знаешь, как я тебя помнил все эти годы?… Ты, маленькая, на белой дороге – и всё оглядываешься и машешь мне рукой… Так и осталась в сердце на всю жизнь. Оглядываешься и машешь…»

И, словно устав расходиться, устав от этого бесконечного прощания, – мы бросились назад – друг к другу, задыхаясь и

торопясь, путаясь в словах и временах… «А помнишь?…», «А знаешь?…»

От того зимнего дня, от того прощания на белой дороге – через муку и счастье узнавания – к этому дню, к этой встрече. Он так крепко сжимает мою руку, что она немеет, но я не отнимаю её.

– Смотри, опять метель!…

От того зимнего дня – к этому весеннему… Через неизбывную горечь и грусть («Никогда мне не узнать, какой ты была тринадцатилетней…»,

– «А мне никогда не вскарабкаться к тебе на колени и не побыть маленькой…») – к сегодняшней радости («Какое счастье, что я дождался тебя!», – «Какое счастье, что я успела!»). И сегодняшнее ВМЕСТЕ огромнее прошлого ВРОЗЬ. «А помнишь?…» – «Помню». «А знаешь?…» – «Знаю».

Нет, не почудилась, не придумалась та ниточка между нами, чудесная ниточка общения – без слов, без писем, без встреч… «Я всегда думал о тебе». – «Я чувствовала это».

Оттого так легко смотреть в глаза друг другу, оттого так радостно – день за днём, словно год за годом – проживать наши жизни заново – теперь уже вместе, сплетая их, разбежавшиеся когда-то от той заснеженной тропинки в разные стороны, – сплетая их в одну, общую жизнь…

«Взял бы тебя на руки и понес в Одессу!» – говорит отец.

– Милый мой папочка! Это я тебя понесу! – говорю я, и мы смеемся. Чему смеемся? И сами не знаем. Просто нам хорошо вместе.

«Это я тебя понесу…» Почему, зачем я так говорила? Разве я не верила, что всё окончится благополучно?

Всё будет хорошо. Ведь всё только начинается! И всё у нас ещё будет!

И весенняя Одесса в цвету, акации и каштаны, умытый тёплым дождем аэропорт – тот самый, что построил мой отец. Он строил его, ещё не зная, что когда-нибудь мы пройдем по этой сияющей взлетной полосе вместе. Но мы обязательно пройдем!

А потом будем бродить по чудесным зелёным улицам, по Дерибасовской и по Молдаванке, от одних только названий кружится голова! И в синем одесском небе я увижу стремительный шпиль телебашни – той самой, что построил мой отец. Тогда ещё совсем молодой, чуть старше меня-сегодняшней, горячий и нетерпеливый, сколько раз взбегал он наверх – под эти ослепительные облака, в эту пронзительную синеву? «Не хватало терпения ждать подъемник!» – смеется он. – «Наверх – бегом, вниз

– тоже бегом… Вообще мне здорово повезло с профессией. Если бы я не любил свою работу, не знаю, как бы я жил».

А ещё мы обязательно сходим в Оперный, в знаменитый одесский Оперный, и отец покажет, у которой из колонн стояла его раскладушка. Мой отец жил в Оперном театре! Целый месяц, во время реставрации. Принес раскладушку, подушку, и ночевал прямо здесь, чтобы не тратить время на дорогу домой и обратно. Такой мой отец. Всю жизнь – на стройплощадке, прораб, одержимый и неутомимый. Высокий и сильный, в свои сорок пять он кажется мальчишкой, так легка его походка, так заразительно он хохочет. И вдруг – смертельная бледность заливает его лицо, лоб покрывается испариной… Я бегу на пост дежурной медсестры…

После укола он минут пять или десять лежит с закрытыми глазами, тихий и бледный, и мне становится страшно. Но я упрямо говорю себе: всё будет хорошо! «Всё будет хорошо», – говорю я, глядя в снежную кутерьму за окном. Да, я всё понимаю. Я догадываюсь, почему Алкс старается не встречаться со мной взглядом. Операция отчаянья… Но ведь он, Алкс, – первоклассный хирург, он уже дважды оперировал отца, и всё заканчивалось благополучно. Разве он взялся бы оперировать в третий раз, если бы не верил?…

Легкий румянец возвращается на лицо отца, он открывает свои синие глаза… «Всё прошло»,«Всё прошло»,-улыбается он. «Послушай, – говорю я ему, – я ездила сегодня утром на взморье и искала для нас домик. После операции мы поживем немного здесь, пока ты не окрепнешь». «Хорошо, – говорит он, – как скажешь, так и будет. Только как же твоя сессия?» – «Возьму академический. Или сдам осенью. Неважно. Я уже послала в институт телеграмму, что задерживаюсь.» – «Вот как?» – удивляется отец. «Вот так! И не возражай, пожалуйста». Я беру его очки, лежащие на тумбочке у кровати, и надеваю их на ручку чашки, как на переносицу – забавная рожица улыбается нам, мы хохочем, соседи по палате тоже смеются, глядя на нас. Хотя у них причин для веселья гораздо больше: они уже все ждут выписку. Ничего, и нам не так долго ждать. Ждали больше.

Никто из больных не верит, что я – его дочь. Думают: сестра. Я не отрицаю. Конечно, сестра. И сестра тоже. А как же?

«А я стихи тебе написала. Когда тебе показать: сейчас или после операции?» Он подумал, взглянул на меня как-то странно и сказал: «Лучше сейчас».

…Я смотрю в метель за окном, на белые шпили костела, на причудливые ветви деревьев – чёрные на белом: всё сказано – и ничего лишнего, ничего случайного. Смотрю в метель и стараюсь

не вслушиваться в то, о чём говорит старый профессор группе студентов и аккуратненьких студенточек, которые, навострив блокноты и карандаши, с любопытством глазеют на моего отца. Он смущается и краснеет, как мальчишка, отчего глаза кажутся ещё синее… Я отворачиваюсь к окну, смотрю в метель, я думаю о хорошем: о том, как отец приедет в Москву, и я поведу его в цирк на Цветном, я покажу ему Крышу, я познакомлю его с Художником… Боже мой, как много у нас всего впереди! А мягкий и какой-то шутливый голос профессора пробивается сквозь метель, сквозь мысли о хорошем: «Вы, Сергей Дмитриевич, уникальный больной… третья операция… такой оптимизм… ваш случай войдет в учебники…»

Не успевает удалиться группа студентов, как палату заполняет толпа аспирантов, всё с теми же блокнотами и карандашами наготове, и спокойно-развязный голос уже другого профессора: «Где тут наш замечательный больной?…»

И я опять отворачиваюсь к окну, чтобы не видеть, как неловко моему отцу в роли наглядного пособия, живого экспоната. Хочется крикнуть: «Да оставьте же нас наконец! Нам и так мало отпущено…»

Но вот все ушли, спектакль окончен – и мы с облегчением улыбаемся друг другу.

Я сижу рядом с отцовской постелью, положив голову ему на грудь, и слушаю, как бьется его сердце… Хотя сказать «бьется» – нет, не могу. Эти звуки скорее похожи на хрипы и скрежет старого часового механизма. Жутко. Каждый день – по три, а то и пять приступов. Если замешкать с уколом – любой из них может стать последним.

Я знаю об этом. Знаю – но не верю. Не могу поверить. Ведь мы только-только нашли друг друга! Ничего страшного случиться не может, всё самое страшное уже позади.

– Только ты мог быть моим отцом, только ты!

– А всю жизнь прожили врозь… – грустно добавляет он.

– Ты ни в чем не виноват!

– Если бы так, доця… Но ты прости меня! Знаю, что нельзя этого простить, но ты прости!

«Ты ни в чем не виноват…» Я сказала то, что чувствовала.

Этот человек, с исколотыми иглой венами, с испариной на лбу, с походкой легкой, но такой мучительно медленной, словно не по комнате идёт, а по неизведанной планете ступает, – этот человек передо мной ни в чем не виноват. Этот, сегодняшний. Он смотрит на меня светлым измученным взглядом – взглядом человека, заплатившего за всё сполна. Нет, не мне его казнить или миловать. Не в человеческой это власти. Мне досталось –

любить.

Мне досталось – нестись каждое утро по рижским прохладным улочкам с одной только мыслью: «Как он там? Как прошла ночь?» Взлетать без передышки на шестой этаж, и, тихо приотворив двери палаты, – «Здравствуй!» С облегчением уткнуться в щеку, в плечо, в мятую, пропахшую лекарствами пижаму: «Слава Богу!» И – отдышавшись: «А я тебе стихи написала!» И – чуть погодя: «Когда у тебя был приступ? В пять утра? Я почувствовала… у меня тоже болело».

Мне досталось – взбивать подушку, бегать за медсестрой, гладить по волосам, по щеке, улыбаться и шутить, в то время, когда хочется плакать, прижиматься к руке, такой сильной и такой слабой, смотреть в эти синие глаза, излучающие муку и свет… И – никаких вопросов.

Один вопрос остался у меня, – но был он обращен не к отцу – а куда-то выше: сколько дней отмеряно нам?…

Отец – самый тяжёлый в отделении, но, как ни странно, самый весёлый. «Что бы мы без него делали?» – говорят соседи по палате. Он шутит даже по поводу предстоящей операции:

– Я говорю Алксу: зачем меня каждый раз разрезать и зашивать?

Вшили бы лучше замок-молнию, как удобно! Когда нужно – открыл, заменил изношенный клапан – и опять закрыл. Красота и никаких хлопот!

Он заразительно смеется, смеются соседи по палате, смеюсь и я.

– Ты не переживай, дочка, – говорит мне сосед слева, пожилой латыш, которому завтра уже на выписку. – У твоего отца всё хорошо будет. Смеется! Значит, всё хорошо будет.

Каждый день я приносила отцу фиалки, маленькие лиловые пучки остро пахнущей жизни, которые покупала у старика, сидящего с корзиной у ворот клиники. И они долго стояли, не увядая.

А накануне операции принесла белые. И они вдруг засохли и почернели, словно обуглились, – за одну ночь…

Мне кажется, он так до сих пор там и сидит, тот молчаливый, сосредоточенный на какой-то своей мысли, старик – на весеннем солнышке, у кирпичной ограды, с корзинкой белых и лиловых фиалок, остро пахнущих землей, талым снегом, весенними криками…

* * *

Снег и солнце, метель и теплынь… Антон – румяное яблоко, облепленное снегом. Снежный, румяный жаворонок! Мальчик мой ненаглядный.

А липы, а каштаны, а клены – как белые пушистые облака, как наши с тобой сны и фантазии… Ведь правда мы с тобой счастливы? Правда?

– А в Мунте такие старенькие дома, что положишь на них хлебную крошку – и они развалятся, – щебечешь ты. – А в Горном Склане такие высокие сугробы – до самых облаков! А в Дерефане знаешь, какая сильная метель? Знаешь, какая? Знаешь?… О чем ты задумалась, мама?

Глава 13
Звезда с Японского моря

Над городом бушует осенний циклон…

Тебя что-то мучает во сне, ты стонешь, вскрикиваешь. Я глажу тебя по щеке, тихонько дую тебе в лицо, разгоняя твои ночные кошмары, налетевшие с этим ураганным ветром, напирающим на стекла, гоняющим по лоджии забытое тобой ведёрко… Тревожно скребётся в углу черепашка. Ты стонешь и мечешься.

А ещё вчера было лето… Ещё вчера цвел наш жасмин и наш шиповник.

И были прогулки на бухту и в лес, к нашим папоротникам и мхам. И было первое настоящее путешествие. К морю!… Теперь у нас есть наш Крым.

Наша Генуэзская крепость. Помню: мы сидим на сухом склоне Крепостной горы, среди зарослей горного чеснока и колючего синеголовника, и ты напеваешь только что сочиненное: «Крым пахучий, Крым колючий,

Крым любовный, древний Крым…» В твоей походной сумке, перекинутой через загорелое плечо, – камни, раковины, можжевеловая, с тёмно-красными ягодами веточка, сухие, пахучие травки и множество керамических черепков, которыми усеяны склоны Крепостной горы.

«Крым пахучий, Крым колючий…»

Вернулись, а в Москве уже осень. Золотистая, жаркая. Помню: ты купаешься в ворохах листвы, как ещё недавно – в море… Каштановые ежики падают в зелёную траву. И цветет наш шиповник.

Цвел ещё вчера…

А утром… Выглянула в окно и обомлела: лоджия завалена снегом! И во дворе – белым-бело… Не осталось ни зелёного, ни золотого. Ну, вот и зима, сынок. Так скоро. А у нас ещё столько планов было на эту осень!…

Ты проснулся измученный, уставший. И при свете холодного, неуютного утра я увидела причину твоих ночных стонов: указательный палец на левой руке распух и посинел, у пальца была температура, тебя знобило и лихорадило.

– Проволочкой, наверное… – вздохнул ты, морщась от боли. – Я думал, пройдет…

Карманы твоего осеннего пальто были, как всегда, набиты всякой всячиной, в том числе и моточками тонкой разноцветной

проволоки, к которой ты имеешь особое пристрастие. («Потому что красивая!»)

– Я когда-нибудь зашью твои карманы! – в сердцах говорю я.

– А как же я тогда буду жить? – в твоих глазах искреннее недоумение.

Наскоро позавтракали. Черепашка к завтраку не выползла, забилась в угол.

– Значит, точно, зима пришла, – говоришь ты.

На улице холодно и пустынно. Ветер треплет полуоборванную киношную афишу, созывающую редких прохожих согреться очередной сентиментальной историей – «Жена ушла».

– Мама, слушай стишок:

Зима пришла.
Жена ушла.

Посмеялись.

В поликлинике дежурный врач, взглянув на твой палец, произнесла решительно и сурово: «В травмапункт! Немедленно!»

Такси, разбрызгивая мокрый снег, неслось по Садовому кольцу. «Ну, как, Антончик, очень больно?» – спрашиваю тебя, а ты вместо ответа ворчишь: «Вечно ты приписываешь мне болезни… Совсем не болит, только горячий и колется изнутри».

Было воскресенье, и потому детей везли в центральный травмапункт со всей Москвы. Ну, и насмотрелись мы там!… А твой палец распухал и темнел с каждой минутой.

Наконец, подошла наша очередь. Тебя увели в операционную, а меня попросили выйти в коридор. Через две двери до меня донесся твой истошный крик… Инстинктивно рванулась за дверь, – но услышала мягкое, с легким укором: «Ну, что вы, мамочка, так волнуетесь? Подождите в коридоре, вас позовут».

Вышла. Прислонилась к косяку. Странно, но ты больше не кричал. Там – за двумя дверьми – было тихо, и эта тишина пугала ещё больше, чем крики.

Наконец, меня позвали. Ты сидел на топчане со взмокшими на лбу волосами, красным, распухшим носом и забинтованной рукой.

– Милый, не плачь, всё уже позади…

– А я и не плачу вовсе, – неожиданно спокойно сказал ты. – Это я только в самом начале, когда ещё до заморозочки – тогда больно было. А потом так интересно было!… Я тебе всё-всё сейчас расскажу.

На обратном пути ты, захлебываясь от восторга, рассказывал, как тебе вскрывали палец, и как это интересно, и какие там, в той комнате, замечательные щипчики. «А ещё там, в помойном ведре, почему-то валяются такие красивые белые тапочки и варежки! И даже валенки! Такие белые и такие красивые, и почему-то в помойном ведре…» Я поняла, что ты говоришь о старом гипсе.

– Не понимаю, почему другие дети боятся уколов и щипчиков? Странные какие-то.

– Это ты странный. Другие дети любят цирк, а тебя туда не заманишь.

– Ну, сравнила!… Цирк – и щипчики! Что ж в этом цирке интересного? А щипчики… Там их столько!… А баночек всяких!…

И вдруг, неожиданно:

– Мама, отгадай загадку. Шли по улице курица и цыпленок, и вдруг цыпленка клюнул в лапу петух.

– Что-то не соображу, сынок.

– Эх, ты! Ведь же так просто! Курица – мама, цыплёнок – Антон, то есть я, лапа – это рука, конечно, точнее – палец.

А петух – это доктор. Который, так сказать, «клюнул» мне в лапу, то есть – вскрыл нарыв.

И хохочешь, довольный…

Снежная, ветреная, бурная осень. Всё смешалось. Спутались времена года. Колесо времени закрутилось со страшной быстротой: вечером – весна, утром – осень, днём – зима…

– Как на Меркурии, – говоришь ты. – Там год проходит за двадцать четыре часа.

– А где же лето? Что-то лета не видно.

На миг ты растерялся. Задумался. И тут же, обрадованный, делишься своей догадкой:

– Ночью! Когда мы спим! Потому мы его и не замечаем. А ещё… – и ты улыбаешься, прижмурив от удовольствия глаза: – Лето в нашем чемодане!

Иногда, по вечерам, мы открываем большой обшарпанный чемодан, набитый черепками, камушками, сухими ветками колючего синеголовника, можжевельника, нежной серебристой полыни, – и вдыхаем терпкий, пьянящий запах нашего лета…

– Скоро уж и Галлея причмокает к нам, – сообщаешь ты, залезая в утреннюю газету. – Комета, а тащится, как черепаха…

Стою у окна и смотрю на улицу, на которой опять – поздняя осень. Ураганный ветер срывает газеты, афиши и гонит их вместе с мокрой, ржавой листвой по тротуару… И в доме холодно. Наш

тринадцатый этаж насквозь продуваем ветрами. Холодно, неприютно, тревожно. Всё-таки оно ушло, лето… А с ним и светлая, счастливая безмятежность.

– Ау, мамася! – теребишь ты меня то и дело, не позволяя остаться наедине с собой, боясь этих моих уходов «в себя». – Ты куда смотришь? Ты о чём думаешь? Хочешь, я расскажу тебе одну историю?

И говоришь, говоришь…

Давно заметила: в наши самые трудные дни ты становишься особенно говорлив. Сознательно или бессознательно, ты стараешься оторвать меня от моих невесёлых мыслей, вернуть в наш счастливый круг…

Всегда, даже когда ты был совсем маленьким (и тогда, когда я жила в ожидании тебя), всегда я чувствовала себя защищенной тобой. И была уверена, что ты защищен моей любовью так же, как я твоей. Ты да я, да мы с тобой… Как две половинки одного целого. Две нерасторжимые половинки.

В семье должны быть мужчина и женщина, говорила я себе. Пусть это даже отец и дочь, мать и сын, или хотя бы дед и внучка. Так что у нас всё в порядке. Ты был мне сыном и братом одновременно. То младшим братом, то старшим. А порой я чувствовала в тебе опору и защитника, какого мечтала когда-то обрести в отце. А то вдруг ты превращался в дедушку-ворчуна или в маленького мудреца, и я недоумевала: «Так сколько же тебе лет на самом деле?…» И с каждым днём, с каждым годом нашей жизни, растя тебя, любя тебя, общаясь с тобой, учась с тобой всему заново, открывая вместе с тобой мир и вместе с тобой ему радуясь и удивляясь, с каждым днём я открывала в себе всё новые таланты и возможности: я и сама становилась то твоей сестрой, то твоей подружкой по играм и фантазиям… «Мне никто-никто, кроме тебя, не нужен!» говорил ты, обхватывая меня за шею тонкими, горячими руками.

Мы с тобой любили все времена года. Но совершенно особой любовью – ненастные дни поздней осени. Когда ветер, дующий с канала и из лесов, начинающихся за кольцевой дорогой, влажно и тяжело напирал на стекла…

Когда затяжные дожди заливали лоджию… ах, как тепло, как уютно было всегда в нашем гнездышке на тринадцатом этаже! Светила лампа, выпуская на потолок белого голубя, ты сидел в кресле-качалке с «Незнайкой» или с «Маугли» и тихонько смеялся от удовольствия, поглощая страницу за страницей… Я стучала на старой «Олимпии», и её стрекот нам обоим напоминал стрекот августовских кузнечиков в зарослях травы у нашей бухты… Еше

месяц назад ты уходил в эти заросли с головой, как в лесную чащу…

Цветущая стена радости, она возвышалась вокруг нашего с тобой мира, точно крепостная стена, и делала нашу жизнь неприступной для бушующих снаружи ветров…

Но этот циклон!… Он будто проломил цветущую стену и забушевал внутри нашего гнезда. «Нет, нет, – говорю я себе, – ничего не случилось, просто резкое похолодание, просто не греют батареи, надо заклеить окна и включить камин. И опять станет тепло и уютно».

Ничего не случилось, просто циклон, да к тому же – твой палец.

Так бывало и прежде, когда ты заболевал, я всегда чувствовала ледяное дыхание другой жизни – той, которая за цветущей стеной…

Через день мы ездим в Филатовскую. Палец заживать не спешит. У врачей возникло подозрение, что воспаление захватило кость. Вот что наделала твоя проволочка!

А тебе эти поездки нравятся. Пока мы сидим в очереди, ты вовсю общаешься. На правах старожила рассказываешь тем, кто здесь впервые, что там, в операционной, совсем не страшно. «А какие там замечательные щипчики!…» Эти щипчики тебя совершенно свели с ума. Ты даже сочинил про них песенку и с большим чувством напеваешь её:

Как понравились мне щипчики!
Замечательные щипчики!
Эти миленькие щипчики,
Хирургические щипчики!…
Как я счастлив, что я проволкой,
Подколол свой палец проволкой!
А иначе никогда бы я
Не увидел этих щипчиков!
Как понравились мне щипчики,
Хирургические щипчики…

В кабинет ты заходишь радостно, почти вприпрыжку, тебя не пугает смысл слов «костный процесс», который меня повергает в отчаянье. Уже вторую неделю мы ездим сюда, и я каждый раз обмираю, входя в эту комнату с яркой лампой у потолка, с резкими запахами йода, мази Вишневского и ещё чего-то, от которых начинает сосать под ложечкой. Ты отважно направляешься на перевязку, а я присаживаюсь на обтянутый

холодной клеенкой топчан и жду: что-то нам скажут сегодня?…

– Прости, пожалуйста, я не хотел тебе сделать больно. Я нечаянно… Больше больно не будет.

Эти спокойные, ласковые слова, обращенные к тебе, когда ты дернулся и ойкнул (доктор снимал с твоего пальца повязку), эти слова вывели меня из оцепенения. Я будто очнулась. Очнулась – и увидела доктора. (До этой минуты я видела только высокую широкоплечую фигуру в голубом халате и хирургическую шапочку над густыми, сурово сдвинутыми бровями). Я увидела, что доктор совсем ещё молод, и у него синие, по-детски открытые глаза. А руки большие и сильные, как у спортсмена. Твоей маленькой руке с тонким запястьем и загорелыми, исцарапанными пальцами, было уютно и нестрашно в этих больших добрых руках.

Доктор, обрабатывая твой палец, негромко и как-то по-домашнему разговаривал с тобой. Спросил, чем тебе удалось так отменно пораниться, и ты, торопясь и захлебываясь, стал рассказывать ему о содержимом своих карманов, о своей замечательной коллекции разноцветных проволочек… Доктор засмеялся и показал тебе свою руку: «Видишь? У меня когда-то была такая же история, кстати, на том же пальце, что у тебя. Ничего, и у тебя заживет».

Затем доктор передал тебя медсестре, а сам долго и внимательно изучал рентгеновские снимки. Наконец обернулся ко мне.

– Ну, что вы на меня так испуганно смотрите? – он улыбнулся, и я опять удивилась его молодости. – Палец спасен. Теперь дело пойдет на поправку. Но надо ещё поездить к нам.

– Сколько угодно, доктор! Только бы всё это кончилось… Скажите, а отчего это бывает? У одного тут же заживет, а у другого…

– Ну, как вам сказать? От судьбы, наверное… – и пояснил:

– От индивидуальной способности организма к сопротивлению.

Я смотрела в его умные и спокойные, по-детски синие глаза, и думала о том, что весь он такой уютный, такой домашний, и хоть молод, но определённо женат, и у него маленькая дочка, года два, не больше… У него это буквально на лице было написано, что он отец маленькой дочки.

До Маяковки шли пешком. Снег вчерашней зимы сошёл, мокрые тротуары и мостовые по-весеннему отражали огни фонарей и реклам. И настроение у нас было праздничное. Зашли в сад Аквариум, побродили, пошуршали листвой…

– Какое счастье, что я подколол палец! – говоришь ты.

– Да в чем счастье-то?

– А иначе мы бы никогда не попали в Филатовскую, и я бы никогда не увидел щипчиков, – произносишь ты с такой нежностью и упоением, как будто речь идёт о самом что ни на есть радостном и приятном. – И доктор очень хороший, – добавляешь ты, повидавший на своем ещё недолгом веку много разных докторов. – Когда он повязку снимает, совсем, ну, ни капельки не больно! Это почему?

– Потому что он добрый. И рука у него легкая.

Через день мы снова в Филатовской. В коридоре, как всегда, очередь. Хлопает дверь кабинета, к нам долетают обрывки фраз. «Припрыгал?» – улыбнулся доктор (по голосу было слышно, что улыбнулся) мальчику-подростку, который ловко скакал на одной ноге, другую, с переломом, поджав под себя, как цапля. За ним, едва волоча старые ноги в ботах «прощаймолодость», плелся насмерть перепуганный дед, неся в дрожащей руке ещё мокрые рентгеновские снимки. «Припрыгал?» – улыбнулся доктор мальчику – и всем, даже сидящим за дверью, стало веселее на душе.

«Ну, что, маленькая? Ручка болит? Сейчас посмотрим, что с твоей ручкой,» – ласково наклонился он к маленькой зареванной девчушке. И дверь опять захлопнулась.

Мама девочки вскоре вышла в коридор, оставив свое сокровище в руках доктора. Нервно теребила мокрый платок. Я вспомнила себя в первый наш приезд сюда.

– Да вы не волнуйтесь, – попробовала успокоить её. – Доктор очень хороший.

– А вы что, не первый раз уже? – живо спросила она, а сама прислушивалась к тому, что делалось за дверьми. Дочка её не плакала, и так же, как и меня в первый раз, тишина пугала женщину.

– Вы говорите, хороший доктор? – переспросила она.

– В его руках дети не плачут.

– Да, и моя молчит…

Ну, вот, наконец, и наша очередь.

Доктор осторожно снимает с твоего пальца повязку. Палец явно идёт на поправку. По крайней мере, с тем, что было – не сравнить. Опухоль спадает, ранка уже не сочится гноем и кровью и потихоньку затягивается.

– Миленько, очень миленько! – весело говорит доктор.

На его столе зазвонил телефон. Он поднял трубку, сказал

приветливо: «Травмапункт». Долго и терпеливо объяснял, как доехать. На всех хватает его тепла и приветливости! И всё это без малейшего усилия над собой: как видно, это его обычное, естественное состояние. Хотя, казалось бы, где можно набраться терпения и ласки при таком потоке? Идут и идут… Одних приносят на руках, другие кое-как припрыгивают сами. В коридоре не пустеет, очередь не убывает. И так – каждый день. В будни и праздники, в субботы и воскресенья…

Предстоящая через день поездка, по всей видимости, будет последней. Палец заживает! Прекрасно, конечно, и спасибо доктору, – но как же быть дальше? Ты так привык к этим поездкам, ты ждешь их с нетерпением. Как же нам подружиться с нашим доктором? Не подойдешь ведь и не скажешь: «Давайте дружить, доктор». Хотя почему не скажешь?

– Давай что-нибудь подарим доктору на прощанье, – говорю я тебе. – Песенку про щипчики и ещё какие-нибудь твои стишки. Ему, должно быть, будет приятно.

– А что? Давай! – соглашаешься ты, радуясь возможности постучать на машинке. – А почему «на прощанье»?

– Но ведь палец твой почти зажил. Завтра мы едем в последний раз, наверное.

– Давай другой палец пораним, – лукаво улыбаешься ты. – А что? Пальцев у меня много!

Последний приезд в Филатовскую. Доктор подтвердил мои радостные предположения: воспаление остановлено, через пару дней ранка затянется окончательно.

– И на этом… мы с вами расстаемся, – говорит он.

– Спасибо вам, доктор.

– Не за что, – улыбается он. – Если вдруг опять что-нибудь… приходите.

– Теперь только к вам! Доктор… мы хотели бы подарить вам на прощанье стихи.

И я протягиваю ему аккуратно сшитую тобой синими нитками книжечку.

На титульном листе – сделанная твоей рукой надпись: «Филатовскому Доктору от Антона».

Как же он обрадовался!…

– Антон, ты пишешь стихи? Это прекрасно! Стихи – это прекрасно!

Самый лучший подарок…

Я смотрю на нашего Доктора и никак не могу рассмотреть черты его лица. Необыкновенная доброта, излучаемая этим

лицом, как бы заслоняет его черты…

* * *

Середина ноября – а метет, как в феврале… Белые, косматые смерчи несутся по выстуженному, заваленному сугробами городу. Редкие прохожие пробегают, уткнув лица в воротники.

Накануне я обещала тебе, что сегодня мы поедем в гости к Доктору.

Две недели прошло с нашей последней поездки в Филатовскую, и ты изнылся: «Хочу в Филатовскую!…»

– Ну, что, едем в гости? – спрашиваю тебя. – Смотри, какая метель!

– Ведь же решили! Значит, надо ехать. Зачем переменять решение?

Накутываемся потеплее и выходим – в безлюдье и холод. Дыхание тут же забивает обжигающе-душным, огромным, не умещающимся в лёгких ветром. Ты судорожно раскрываешь рот, ветер выжимает из глаз слёзы. Ты прячешься за мою спину.

– Может, вернёмся? – кричу я тебе сквозь метель. – Мы даже до метро не дойдем!

– Зачем переменять решение? – кричишь ты в ответ. – Ведь же *решили*!…

На наше счастье из-за угла дома выныривает такси с зелёным спасительным огоньком. Мы машем ему в четыре руки. Вваливаемся в тёплый уют машины и не можем отдышаться.

– Интересно, какая сегодня будет очередь? – говоришь ты.

– Какая б ни была, уже едем…

В травмапункте ни души. Гардеробщица дремлет у пустых вешалок. Мы не стали её тревожить, оставили наши пальто на топчане.

Дверь знакомого кабинета приоткрыта, и мы проходим в эту дверь, забыв постучать.

Наш Доктор сидит на своем месте – за столом у окна, в окружении врачей и медсестер. Видно, сошлись поболтать, – не каждый вечер такая метель и травмапункт пустует.

При нашем неожиданном появлении разговор смолк, и лицо Доктора, нашего милого Доктора вспыхивает нам навстречу улыбкой:

– Как хорошо, что вы приехали! Здравствуйте… Здравствуй,

Антон!

– Вот, Доктор, на экскурсию к вам приехали. Приворожили вы моего сына какими-то загадочными щипчиками!

– Какими щипчиками? – не понял он.

– Да теми, что палец ему вскрывали! Он просто влюбился в эти щипчики!

– Саша, – обратился Доктор к одному из ассистентов. – Проводи, пожалуйста, молодого человека в операционную. Только смотри, чтобы на стерильное кресло не влез с ногами.

И ты отправляешься в «комнатку», о которой грезил все эти дни.

– Вы даже не представляете, какую радость вы нам доставили Антошиными стихами! – говорит Доктор. – Мы с женой целую неделю их читали, не торопясь, каждый вечер понемногу…

Я сижу напротив Доктора, на том самом стуле, что и прежде, но уже не посетительница, а его гостья. С этой минуты мы уже не чужие.

Блаженно, но сдержанно улыбаясь, ты выходишь из операционной.

– Ну, что, всё посмотрел? – спрашивает Доктор.

– Всё! – отвечаешь ты. – Все щипчики, все баночки!

Доктор подхватывает тебя и сажает к себе на колени. Ты смущен. Ты ещё никогда не сидел на коленях у мужчины…

– Ну, как палец? – спрашивает Доктор. Он берет твою руку и на мгновение становится прежним доктором, которого мы знали до этого дня: внимательным и сосредоточенным. – Прекрасно! Как новенький! – говорит он, улыбаясь своей открытой, мальчишеской улыбкой. И неожиданно предлагает: – Антон, почитай нам свои стихи. Пожалуйста!

Ты не заставил себя долго упрашивать. До сих пор с грустной радостью вспоминаю твой маленький сольный концерт в метельный вечер в травмапункте Филатовской больницы…

– Стихи про мухи!

Мухи на носу сидели,
Мухи на ухо глядели!
Мухи на носу качались,
Мухи за ухо щипались!

– Стихи про «любишь»!

Любишь, любишь –
недолюбишь.
А полюбишь – перелюбишь!

– Стихи про сову!

Прилетела совушка
на торшер.
Зажигает крыльями огонек…

– Стих про маму!

Мама вьет гнездо на дереве
В этот снежный ранний час…

– Вот… – говоришь ты и замолкаешь, залившись румянцем, смущенный всеобщим вниманием, восторженными возгласами и аплодисментами.

– А я знаешь, что запомнил? – говорит Доктор. – «Жевуземчики поет этот старый бутерброд»!

Все смеются.

– Антон, откуда ты знаешь, что значит «жевуземчики»?

– А я и сам не знаю, откуда. Всегда знал, – пожимаешь ты плечами.

– Когда Антону было три года, я сдавала сессию, и мы с ним занимались французским вместе. С тех пор «жевуземчики» и остались, – говорю я.

Доктор смеется.

– Знаешь, что, Антон? – говорит он. – Приезжай ко мне в гости!

– Что мы и делаем! – говорю я.

– Да нет, не сюда! Домой. К нам домой. Мы с женой приглашаем вас в гости, – говорит он.

У него синий, по-детски открытый взгляд. Такой же синий взгляд, такая же метель… Всё это уже было однажды… в Риге. Как будто взглянули на меня синие глаза моего отца…

– Мы приедем, – говорю я.

– Правда? – он вспыхивает улыбкой. – Правда, приедете?

– Почему же нет? С удовольствием приедем к вам в гости.

– А вы приедете вдвоем или… втроем?

– Дело в том, что нас всего двое. Не считая черепахи, которая сейчас в спячке. Так что приехать мы можем только вдвоем.

Мы смеемся…

– А у нас как раз невеста для вас! – говорит Доктор. («Так я и знала!»)

– Сколько же лет невесте?

– Восемь месяцев.

– О!… Прекрасный возраст! – говорю я, и мы смеемся…

Он записывает на бланке травмапункта свой домашний телефон и адрес.

Мы договариваемся о дне нашего приезда.

– Когда выйдете из метро, позвоните, я выйду, встречу вас.

– Позвоним.

Доктор, провожая нас, выходит с нами в коридор. Здесь по-прежнему ни души.

– Удивительный сегодня вечер! – говорит он. – Никого… Пять лет работаю здесь и не помню такого. Сбегаю пока в клинику, надо взглянуть на одного мальчика. Сегодня была очень тяжёлая операция…

– Вы и в клинике оперируете? – спрашиваю я.

– Не оперирую. Делаю послеоперационную анестезию. Представляете, что это такое?

– Приблизительно…

– Понимаете, самое страшное, когда ребёнок просыпается после наркоза. Боль после операции для него страшнее самой операции. А дети не должны испытывать боли…

– Мальчик маленький?

– Десять лет. Он спит, я звонил туда. Но мне всё равно на него взглянуть надо. А то я сам ночь спать не буду.

Мы выходим во двор, в неутихающую метель…

– Мне – туда. – Доктор показывает на хирургический корпус, темнеющий в глубине двора за старыми деревьями.

Мы прощаемся.

– До встречи, Антон! Жду тебя в гости. Приедешь?

– Приеду!

Твоей маленькой руке тепло и уютно в большой и сильной руке Доктора.

* * *

Итак, мы едем в гости к Доктору. Уже через три дня…

Заходим с тобой в «Детский мир». Совершенно не представляю, чем играют невесты в таком возрасте… Со всех сторон таращатся на нас лупоглазые куклы и пыльное плюшевое зверье. Нет, всё не то! Наконец, наше внимание привлек симпатичный львенок абрикосового цвета. Львенок издавал

радостный, приветливый визг. Пусть у нашей невесты будет такой симпатичный абрикосовый дружок. Пусть играет…

Выходим, распаренные, из игрушечного царства под мокрый, липкий снег. Опять осень!… И какая-то уж очень тоскливая. Только сейчас, держа в руках подарок для *его дочки*, я наконец призналась себе: нет, не могу я туда ехать. *Не могу*. Стоит только представить: вот мы входим в их дом, вот Доктор берет на руки свою дочь… и забытая детская зависть обжигает мне сердце. Оказывается, я до сих пор не выросла из неё. Оказывается, во мне до сих пор живет маленькая девочка, все мечты которой начинались со сказочного: «Если бы у меня был папа…»

Но не только зависть. С ней бы я справилась!…

Впервые за шесть лет нашей-с-тобой жизни я почувствовала, что двое, не считая черепахи, – это не трое. Никогда мне ещё не было так больно за тебя. До этой осени, до этих наших поездок в Филатовскую я думала, что смогу заменить тебе всех, и ты никогда не догадаешься, что бывает по-другому. Догадаешься, конечно, но, крайней мере, не так скоро… Ведь мы были счастливы с тобой до этой осени, правда, сынок? Мы и сейчас счастливы. Только не нужно нам ездить в гости к Доктору. Упаси тебя Бог от этой мучительной зависти, которая терзала меня в детстве. Которая до сих пор нет-нет да и царапнет меня…

Так что же делать? Ты так ждешь этой поездки. Имею ли я право лишать тебя общения? Вот так, из боязни, что потом будет больно? Что ж… наверное, уже настала пора выходить нам из замкнутого счастливого круга: ты да я, да мы с тобой. Не сегодня, так завтра… От боли не спрячешься, всё равно она настигнет нас – не сегодня, так завтра…

Прошло ещё два дня. За окном опять мела метель, работа не клеилась, всё валилось из рук. А на шкафу сидел абрикосовый львенок, и каждый раз, взглянув на него, я обжигалась всё о ту же мысль: «Не могу. Не могу *туда*. Не могу…»

И вдруг я почувствовала, что Доктор, наш милый Доктор, он слышит меня. Не может не слышать! И всё понимает. И он придумает. Он что-нибудь придумает… «Дети не должны испытывать боли,» – слышался мне его голос.

Но прошёл день, прошёл вечер… Настало утро.

Мы собираемся в гости. Время близится к полудню. Через час выезжать, договорились на «после обеда». Значит, едем… Ты в нетерпении подгоняешь меня, волнуешься, ты ужасно не любишь опаздывать.

И когда до выхода остаются считанные минуты, – резкий звонок ударяет по нервам! Ты бежишь к двери…

Почтальон, залепленный метелью, протягивает телеграмму с ярко-синей полосой – «Срочная»! Телеграмма адресована тебе. Нетерпеливо раскрываешь её…

«ЗАЕДУ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ДОКТОР»

В полном недоумении ты смотришь на меня:

– А откуда Доктор узнал наш адрес?

– Наверное, из твоей истории болезни. Всё очень просто…

* * *

Он пришёл, когда мы уже перестали ждать. Когда вполне уверились, что срочная телеграмма – это срочная вежливая отписка, не более.

– У Доктора много работы, – говорю я. – Ты же видел, какая к нему всегда очередь.

Ты вздыхаешь:

– Я понимаю…

А на дворе – опять весна! Ноябрьская весна! Она растопила сугробы, залила город апрельским половодьем…

– Может, мы и вправду живем на Меркурии?… – задумчиво усмехаешься ты. – Тогда уже не неделя прошла, а целых семь лет! Срочная телеграмма: «Заеду через семь лет. Доктор.» Срочная!…

Ты хохочешь. И я не могу понять, действительно ли тебе так смешно?…

…А как-то вечером раздался звонок, весёлый, нетерпеливый. Ты бросился открывать.

На пороге стоял Доктор. С ослепительными гвоздиками в руках!…

– Простите, что заставил себя долго ждать.

Он улыбнулся просто, по-дружески, как старый-старый знакомый. И вошёл в наш дом, внеся с собой запахи дождя и весны. Гвоздики тоже пахли весной. Я пыталась вспомнить, когда мне последний раз дарили цветы – и не могла…

– Ну, здравствуй, Антон! Вот я и пришёл к тебе в гости. Давай руку!

Ты протянул по привычке левую, с уже окончательно зажившим пальцем.

– Да нет, правую давай! – засмеялся Доктор.

Ты смотрел на него с любопытством и слегка растерянно: по-моему, не совсем узнавая его. Без привычного халата и

хирургической шапочки Доктор казался нам незнакомцем, и мы с трудом привыкали к его, новому для нас, облику. Веселый, синеглазый, с русым ежиком непослушных вихрастых волос над высоким лбом.

Наш гость скинул легкую куртку, забрызганную дождем, открыл портфель и подозвал тебя:

– Долго думал, Антон, что бы тебе подарить такое… Смотри! – он осторожно вынимает и кладет тебе на ладонь огромную морскую звезду…

– Я её сам достал, – говорит Доктор. – Со дна Японского моря.

– А что ты там делал? Нырял? – живо спрашиваешь ты, и я вижу, что наконец-то ты узнал в весёлом незнакомце нашего Доктора.

– Был с экспедицией. Как врач. А работал водолазом. Фотографировали морское дно. Ты был когда-нибудь на море?

– Был, с мамой, в Крыму. Я там камни собирал. И черепочки разные.

Хочешь, покажу?

Ты берешь Доктора за руку и тянешь в комнату. И смотришь на меня виновато и умоляюще:

– Нам пообщаться нужно…

– Ладно, ладно, общайтесь, – смеюсь я.

И иду на кухню готовить ужин. Мне остается заняться своими делами и радоваться твоей радости: ты дождался своего гостя! Только сейчас, слыша, с какой жадностью набросился ты на Доктора, я понимаю, как не хватает тебе общения, как жаждет твоя душа новых встреч. Хотя ты сам и не осознаешь ещё этого…

– Из твоих сочинений, Антон, мне больше всего понравилось «Про любовь без печали», – говорит Доктор. – Только разве так бывает – любовь без печали?

– Любовь всегда без печали, – уверенно говоришь ты.

– Если бы так… Антон, а почему у тебя кактусы на шкафу? Там ведь поливать неудобно.

– А я их сейчас не поливаю. У них зимняя спячка, как у черепахи.

Там стенка холодная, вот мы их туда и поставили.

– Зачем?

– Так нужно. Холодная и сухая зимовка – чтобы зацвели. Так в книжке написано.

– А у моей бабушки есть кактус, мы круглый год сливаем в него что попало и никакой зимовки не устраиваем – и цветет каждый год!

– Ну уж это я не знаю…

– Антон, а кто у вас играет на скрипке?

– Мама. Только она не играет. Она мне пантомиму показывает с этой скрипкой. И с этим зонтиком. Видишь, он весь в заплатах? Это мама нашила. Они все разноцветные… Вот открой, пожалуйста. Видишь? Он огромный, как дом. Я иногда под ним живу…

– Значит, твоя мама артистка? – спрашивает Доктор.

– Почему артистка? – недоумеваешь ты. – Моя мама рецензент. Она пишет рецензии на разных поэтов. А артисткой она давно хотела быть, когда меня ещё не было…

– Ты любишь цирк, Антон?

– Цирк? Не выношу! Там такой грохот, голова трещит!

– Почему же у вас афиши цирковые кругом?…

– Это наш Клоун. Мы с мамой его любим.

– Ты любишь этого клоуна?… Хм… Ты что-то путаешь, Антон. Этот клоун давно умер, тебя ещё на свете не было.

– Я знаю. Мама мне рассказывала. Это потому, что он много работал, и у него сердце не выдержало. Но мама говорит: если кого-то любишь, если очень сильно любишь, – он не умрет.

– Твоя мама права…

– А ещё один художник недавно умер. Видишь, это его картины. Это он нам подарил. Он был старый-старый, прямо древний! Но ни капельки не старик. Он нам дыню привез, я помню… Огромную, как… как дом!

Мы её целый год ели! Шутка, конечно… Видишь, это «Коты на крыше». Эта крыша есть на самом деле, мама мне показывала… Это – «Сиреневая лошадь».

– А почему лошадь сиреневая? – спрашивает Доктор.

– А какой она должна быть? – удивляешься ты.

– Хм…

– Мама очень плакала, когда он умер. А я ей говорю: «Ты чего плачешь? Ты же сама говорила, что смерти нет». А она всё равно плачет…

– Наверное, любви без печали всё же не бывает, – говорит Доктор.

И ты недетским вздохом вторишь ему. На несколько минут в комнате воцаряется молчание. И тут, спохватившись, ты восклицаешь:

– А камушки!… Я и забыл вовсе!

Звук выдвигаемого из-под тахты чемодана. Щелкают замки…

– Видишь, какой красивый черепок? Это мы сами раскопали на раскопках!

В крепости. А это кусочек Сахарной Головки. Это такая гора в Крыму.

Это вот полынь… Понюхай, как пахнет!

– Здорово. Я тоже люблю полынный запах… Антон, а почему ты в сад не ходишь?

– Так я не детсадовский. У меня прививок нет.

– Как же ты в школу пойдешь?

– А зачем в школу?

– Как «зачем»? Научишься читать, писать.

– Так я это всё умею. Я с двух лет читаю. И пишу. И считаю скорее мамы. Она меня всегда в магазин берет, чтобы я считал.

– Наверное, скучно дома одному?

– Одному? Никогда не скучно! У меня столько дел!…

– Какие же у тебя дела?

– Много дел! Я инфузорий в банках развожу. Я их изучаю. У меня микроскоп есть. Они такие хорошенькие! Особенно сувойки. Сувоечки!… – говоришь ты с нежностью. – И солнечник, и голубой трубач, и аксеназия…

– А, кроме инфузорий, ты что ещё любишь?

– Звёзды! Инфузорий и звёзды! А ещё на свечку смотреть… А ты?

– Я свою работу люблю. Море. Хорошие стихи люблю. Но мне, в основном, другую литературу приходится читать, по медицине. Я всегда врачом хотел быть, с детства.

– А я буду протозоологом! – Говоришь ты. – Инфузорий изучать буду. А ещё буду продавцом кваса! Я квас ужасно люблю. Я сразу из двух бочек продавать буду: из одной продавать, а из другой сам пить!

Доктор смеется.

– А какие у тебя ещё дела? Ты говорил «много».

– Ещё мы с мамой пишем рецензии.

– Но это же мама их пишет.

– Нет, мы вместе! Мы всё вместе делаем. Я всегда рукописи читаю. Мама и попечатать мне иногда разрешает. Когда она обед готовит, она мне диктует, а я печатаю.

– А ты сколькими пальцами печатаешь? Двумя?

– Зачем двумя? – удивляешься ты. – Одним! Второй мешать будет. Одним гораздо скорее. Тра-та, та-та, та-та, та! И готово. А ещё я пишу про Самболюнию.

– Кто такая Самболюния? – удивляется Доктор.

– Это страна такая!

– Что-то не слыхал о такой стране.

– Это моя страна. На планете Маль. Я там живу.

– Хм… Ты «Маленького принца» читал?

– Нет. А про что?

– Про одного мальчика. У него тоже была своя планета.

– Расскажи.

– Я плохо рассказываю, Антон. Я лучше привезу тебе в следующий раз эту книгу.

– А когда ты приедешь ещё?

– Ох, Антон… Трудно сказать.

– Работы много, да?

– Очень много. Знаешь, во сколько я спать ложусь? Не раньше часу ночи.

– А моя мама иногда в четыре утра! – с гордостью говоришь ты. – Моя мама – сова!

– Значит, ты понимаешь, что значит «много работы».

– Я понимаю…

…А потом мы пили чай. И ты сказал: «Давайте зажжём свечу».

И зажёг свечу. И мы смотрели на огонь, и Доктор рассказывал нам о своей работе, о том, что он изобрёл новый способ обезболивания, такой, чтобы без укола. «Дети не должны испытывать боли», – вновь повторил он, и я поняла, что это – его главная мысль, и этой мысли подчинена вся его работа, вся его жизнь. «Главное в моей жизни – это работа, – сказал он. – Нужно очень много успеть сделать».

Ты берёшь ложку и окунаешь её в пламя свечи…

– Что ты делаешь, Антон?

– Мне интересно: можно ли вычерпать огонь?… Как чай из чашки.

– В самом деле, – говорит Доктор, – можно ли вычерпать огонь?…

Лицо у него становится задумчивым и грустным.

– Нет. Наверное, мне никогда не понять этого, – говорит он.

– Вы о чём, Доктор? – спрашиваю я.

– О скрипке. Об афишах на стене… Можно ли быть настолько обращенной в прошлое?

– Прошлого нет. Всё наше – с нами.

– Смотрите! Смотрите! Не вычерпывается!… Никак не вычерпывается!…

Никогда не забыть мне твоё ликующее лицо, озаренное трепещущим пламенем свечи, и твой ликующий возглас, который и был (хотя ты сам о том не ведал) истинным ответом на вопрос Доктора. «Огонь не вычерпывается!…»

И грустное, и виноватое лицо Доктора, который стоит у двери, уже в куртке, уже с портфелем. А ты даже не замечаешь, что он уходит, и продолжаешь рассказывать:

– В Самболюнии есть ещё такой город, – говоришь ты быстро, захлебываясь, – город Мунт. Он самый старый, почти одни

развалины… Люди уже оттуда ушли. Там только живет птица Голофомэ. Она клюет красные ягоды фонтоса. Ты знаешь, что такое фонтос? Это такой куст…

А Доктор всё грустнее и грустнее. И он говорит, не столько тебе, сколько мне:

– Я знаю: к тем, кого приручил, надо приходить вовремя, – говорит он. – Но я не могу сказать, когда я приду…

И мы, два взрослых человека, боимся взглянуть в глаза друг другу. «Дети не должны испытывать боли…»

И он уходит. Наш Доктор уходит. И мы опять остаемся одни.

Над городом осенний циклон…

Глава 14
Малыш

– Расскажи про то, как я был маленьким.
– Но ведь я тебе уже рассказывала…
– Расскажи ещё.

И я начинаю рассказывать тебе истории, которые ты давно знаешь наизусть. Ты даже подсказываешь мне, если я что-то подзабуду: «А теперь про зайца», «А теперь про то, как я сажал цветы…»

Я смотрю на тебя, долговязого отрока, с быстрыми умными глазами, порывистого и грациозно-угловатого, тебе уже девять лет, и мне почти не верится, что розовощекий малыш, лукавый и таинственный, забавный и трогательный, перестал существовать, став тобой нынешним. Мне кажется, что где-то – не в прошлом, нет, а в какой-то другой реальности, словно на соседней улице – он продолжает жить, делать свои первые шаги и первые открытия, совершать свои первые проказы и первые подвиги…

Этот малыш существует уже независимо от нас с тобой, независимо от того, говорим мы о нём или нет.

Точно так же живет в далёком южном городе маленькая девочка. Бегает по булыжной мостовой, засыпанной сладкой шелковицей, обдирает коленки, нянчит свою любимую куклу… Я возвращалась к этой девочке много раз в жизни, всегда, когда мне бывало одиноко, трудно или счастливо. Не забывай и ты своего малыша. В самые трудные дни он напомнит тебе о том, что небо – синее, снег – белый, роза пахнет розой, а жизнь создана для радости и удивления.

* * *

Первый раз в лесу.

Чудища-корни, торчащие из земли, великаны-сосны с толстой морщинистой корой, непонятный, загадочный шум – это шумят кроны деревьев, опрокинутые в далёкое-далёкое небо… Оно яркой синевой проглядывает между тёмных разлапистых ветвей.

В гамак падают сухие колючие иглы… Упала пахучая, светящаяся на солнце, жёлтая капля сосновой смолы. Пальчик

липнет к солнечной тягучей капле, иголка колет, но весело. Мамины руки вынимают малыша из гамака и опускают на усыпанную иглами, корявую от корней землю. По тёмному шершавому стволу сосны бежит пушистое существо. Оно – незнакомое рыжее – замерло неподалёку, прижав к груди передние лапки, подняв пушистый дымчатый хвост над головой, и устремив на малыша пристальный взгляд.

– Пойди, побегай за белочкой, – говорит мама.

Малыш делает робкий шаг… В ответ – стремительный, огненный прыжок ему навстречу. Малыш в испуге отшатывается.

– Мама!

Но мамы почему-то нет рядом. До неё – столько препятствий! Топорщатся корни, толстыми каменными извивами опутавшие землю, путаются в ногах травинки, башмачки скользят по толстой подстилке из игл… А рыжее, хвостатое, настырное скачет огромными прыжками, оно уже настигает малыша…

– Мама!… – совсем уже отчаянно.

Бежит, споткнулся о корень, упал, вскочил, раскинул руки, побежал, опять упал, запутавшись в траве. Мама близко, а кажется недосягаемой. Путь преодоления – к спасению от неведомого – через препятствия, преодолевая неуклюжесть ещё слабых, неуверенных ног, скользя и падая – к её улыбке, к её спасительно протянутым ему навстречу рукам…

– Мама!

* * *

А не посадить ли у мамы на тахте цветы?…

Наверное, это будет очень красиво.

И принялся за работу. Наносил совком земли из цветочных ящиков, стоящих на лоджии, насыпал старательно ровным слоем на плед. Потом взял лейку и аккуратно полил «грядку».

Смотри, мама, как красиво, тянет малыш за руку. Скоро вырастут цветочки! Но мама всплескивает руками и почему-то совсем не радуется.

Странно…

* * *

Мама стирает.

Побросав в таз с водой рубашки, штанишки, майки и кепки малыша, она сыплет в таз из большой голубой коробки что-то белое, сыпучее, и – вздувается, весело искрясь над её руками, – белоснежное, пушистое облако… И мама играет с этим облаком, топит его, теребит, полощет. Пушистые хлопья летят из таза в ванну, на пол… Малыш хлопает по ним башмачком, ловит ладошкой.

Потом мама уходит на лоджию развешивать белье.

Малыш, не теряя ни минуты, быстро-быстро бросает в белый таз, который он обнаружил в углу ванной комнаты, всё, что попадает ему под руку: носовой платок, панаму, шерстяную шапочку, шарфик (благо, он уже может дотянуться до своей вешалки!) И – спешно высыпает в «таз» всю коробку стирального порошка. Затем – шум спускаемой воды…

И – облака, облака, большие и крошечные, искристые, пушистые, целая гора чудесных облаков. Ещё искристее, ещё пушистее, чем у мамы!

Снежная гора выползает из «таза» на пол… На пороге появляется мама. Смотри, мама, как красиво!

Но мама сердится. Она берет тряпку и начинает вытирать пол. Облака меркнут, вянут и – исчезают…

* * *

Малыш нашёл новое приложение своей энергии.

Кухонный шкаф. Целый мир – в него можно уйти с головой, в прямом и переносном смысле.

Можно выгрузить на пол всех гремящих жителей. Забраться внутрь шкафа и посидеть на широкой полке. А затем с величайшим старанием начать укладывать и устанавливать всё по-своему: сначала крышки, потом кружки, миски, маленькие кастрюли… А наверх сооружения малыш водружает толстого, в три обхвата, короля кастрюль! И, отступив шажок, – любуется сделанной работой.

Но вдруг… жители шкафа, придя в страшное волнение, устраивают на полке невероятную сутолоку. Подталкивая друг дружку в бока, они кубарем вываливаются из шкафа, катятся в разные стороны по полу, едва не сбивая малыша с ног. Грохот, стук, звон… Малыш отскакивает в угол, испуганно тараща глаза.

На кухню заглядывает мама. Она смеется. Значит, это не страшно? Значит, можно посмеяться и самому? Малыш приободряется духом и начинает свою работу с начала.

С третьей, а может, с десятой попытки, ведь никто не подсчитывал, ему удаётся добиться от кастрюль, мисок и крышек полного повиновения и покорности.

– Помощник ты мой, – гладит его по голове мама. – Что бы я без тебя делала?

* * *

Возня с посудой, став одной из любимых игр, занимает малыша не одну неделю.

Много любопытного и загадочного можно отыскать в необъятном чреве шкафа. Но самое, пожалуй, любопытное и загадочное – это миска с дырочками.

– Дуршлаг, – произносит мама непонятное слово.

Можно примерить на голову, как кепку, можно посмотреть сквозь дырочки на окружающий мир – очень даже интересно. Но, подставив его однажды под открытый кран с водой, малыш разгадал его истинное назначение. Только мама не позволяет всё время вертеть кран. И тогда малыш вспоминает о том, что у него есть свой, собственный… Ах, как здорово!

– Ну, это уж никуда не годится, – говорит мама и хмурится.

– Разве можно путать дуршлаг с горшком? Подотри-ка лужу.

Мама вручает малышу швабру с намотанной на неё тряпкой. Малыш видел, как это делается. Ничего, что швабра для него тяжела и в три раза выше его. Раз-раз – и нет лужи. Какая чудесная игра! «Ещё!» – просит он.

– Тогда подотри полы в прихожей, – говорит мама. – Ты мне очень поможешь.

С этого дня только мама за швабру, – малыш тут как тут: «Я сам!»

* * *

– Это тебе бабушка прислала, – говорит мама.

Она разрезает верёвки на коробке и вынимает из неё

беленького пушистого зайца. На зайце нарядная голубая рубашка в белый горошек и штанишки на лямочках. Сзади из штанишек торчит забавный белый хвостик. Белый накрахмаленный воротник топорщится вокруг шеи, как у клоуна. В передних лапках заяц держит две медные тарелки.

Малыш осторожно берет в руки новую игрушку, щупает, разглядывает. Больше всего ему нравятся зайкины пушистые уши и красные блестящие глазки. Он дергает зайца за ушко, и ушко остается у него в руках…

– Не надо, – говорит мама. – Зайке больно.

Она вставляет ушко на место.

– Давай лучше посмотрим, как зайка играет. Это не просто зайка. Зайка – артист! Он и плясать умеет.

Мама берет маленький блестящий ключик, вставляет его в зайкину спину, голубую в горошек, поворачивает ключик, отчего раздаётся негромкое пощелкивание, ставит зайку на пол и…

С истошным криком малыш выбегает из комнаты и забивается в угол прихожей.

– Не надо! – кричит он. – Не надо!

А в комнате на ковре, как заправский артист, отплясывает, вызванивая медными тарелками, оживший заяц. Оживший игрушечный заяц. Ничего ужаснее малыш в своей жизни ещё не видел.

– Не надо! – умоляет он, закрыв ладошками глаза. Только бы не видеть этого – непостижимого умом – превращения неживого в живое.

Целый год после своей незадачливой премьеры зайка прожил в тёмной коробке на шкафу…

* * *

– Может, машинку ты не испугаешься? – говорит мама в раздумье. – Ведь все машины движутся, хоть они и не живые. Смотри, какая чудесная. Хочешь сам завести? – она протягивает малышу ключик.

Но малыш прячет руки за спину. Нет, ему пока не хочется.

– Ладно, я сама. А ты смотри и учись.

С легким жужжанием она поворачивает ключик и ставит машинку на тротуар…

Картинка: малыш с криком ужаса несется по дорожке сквера, за ним – добродушно жужжа, катит автомобиль, а за ними –

бежит мама, безуспешно призывая малыша остановиться, не бояться: ведь это всего-навсего игрушка! Но все её призывы тонут в отчаянном крике перепуганного сына.

Наконец, завод у машинки кончился, и она замирает, ткнувшись носом в обочину. Мама в сердцах засовывает машинку в сумку и прижимает к себе рыдающего малыша.

– Глупышка, маленький, успокойся, мы больше не будем играть в эти игры. Пока ты сам не захочешь…

* * *

Два мальчика живут в малыше. Мальчик-котёнок и мальчик-тигрёнок. Первый ласкается, второй – кусается. «Это не ребёнок, это – настоящий вулкан», – говорит мама.

Из прошлого или из будущего эти яростные вспышки ревности, гнева, отчаянья? Будто в глубине его души взрываются, рождаясь, новые галактики, сотрясая это маленькое существо, открывая в нём пугающие его самого, неведомые глубины… Язык слаб, слов ещё так мало, чтобы выразить, объясниться, хотя бы с нею, самой близкой, самой любящей, которая с грустной тревогой заглядывает ему в глаза, обеспокоено спрашивая: «Что с тобой, малыш?…»

«Что с тобой, малыш?» – спрашивала я, склоняясь над твоей кроваткой, когда ты был совсем ещё крошечный, и по ночам тебя мучила бессонница. Помню твой немигающий взгляд, устремленный в красноватый от света ночника потолок, или в тёмное окно. Напряжённое, как струна, тельце. А тебе от роду – три недели… «Что тебя мучит: прошлое или будущее? Воспоминания или предчувствия?…»

Нет, не можешь ты пока объяснить. Не можешь понять. Для себя самого ты ещё более непонятен, чем для меня…

Странное время, мучительное, зыбкое. Вечность ещё не отступила далеко, ещё явственно звучит для тебя её голос. Но ты живешь здесь: мир, с его радостями и горестями, постепенно завладевает тобой; уже появляются привязанности, интересы, увлечения… А внутри тебя говорит другое – не имеющее названия на языке тех, кто окружает тебя. Муки раздвоенности, слезы неприкаянности, страх перед неизреченным, что мучит тебя изнутри, и чему так и суждено остаться неизреченным, – всё это окружающие тебя взрослые называют непонятным словом «каприз». Смысл его тебе неясен, но интонация, с какой оно

произносится, явно направлена против тебя, в ней сквозит недоумение, осуждение, раздражение, и это повергает тебя в настоящее горе. Тебя не понимают. Ты сам не понимаешь себя. Ты, такой нежный и ласковый, начинаешь кричать и буйствовать. Приласкать, успокоить тебя в эти минуты невозможно: ты отключаешься от внешнего мира, а внутри тебя кипит вулкан, кипит и извергается, выплескивая бунт и истерику, и горячие, неудержимые потоки слез…

А вечером, глядя на тебя – спящего, такого маленького и беззащитного, та, что больше всех любит тебя, сокрушенно повторяет: «Что это с нами такое, малыш?» Но ты не отвечаешь, ты спишь, утомленный, спишь, набираясь сил для завтрашнего дня, спишь, – а внутри тебя вызревает непредсказуемое… Чему нет имени на языке тех, кто далеко ушёл от этого странного, пугающего рубежа, о котором в суете взрослой жизни обычно говорят: «Раннее детство. Почти ничего не говорит, капризничает. Так, ничего интересного…»

* * *

Малыш будто задался целью разрушить родное гнездо. Он действует по какой-то, одному ему ведомой программе, упорно и целеустремленно, не откликаясь на ласки, шутки и увещевания.

Все дни он борется с миром окружающих его вещей. Сломать, сокрушить, убрать с дороги! Способов для этого малыш находит великое множество. Всё, что можно сбросить с балкона, он сбрасывает с балкона. Носовые платки, слюнявчики, кепки, осенними листьями кружась в тёплых вихрях июньского воздуха, слетают с тринадцатого этажа и оседают на балконах этажами ниже. То и дело раздаются звонки в дверь, и кто-нибудь из соседей приносит очередную находку-потерю: «Это, случайно, не ваше?»

Желая, чтобы кукушка в часах куковала ежеминутно, малыш без конца норовит дернуть её за хвост, то есть – за гирю, и бедная кукушка, угорев от кукования, замолчала в конце концов если не навсегда, то по крайней мере надолго. Кухонный шкафчик, упорно раскачиваемый малышом, не выдержал напора, зашатался, накренился и… Если бы меня не оказалось в эту минуту рядом, малыш вряд ли бы успел выскользнуть из-под падающего на него всей своей тяжестью противника…

Стекла в оконных рамах жалобно звенят и угрожающе гудят,

будучи непрерывно испытываемы на прочность половником, который в руках малыша превращается в грозное орудие разрушения. А стоит малышу остаться на кухне одному хоть на минуту, как тут же хлопает дверца холодильника, и я всякий раз застаю одну и ту же картину: малыш с улыбкой сладострастья давит яйца…

А об оборванных малышом обоях, когда заходят соседи, я нарочито бодро говорю: «Мы готовимся к ремонту».

«Ку-ку, малыш!» – окликаю я тебя устало и растеряно. – «Возвращайся ко мне. Давай жить дружно».

* * *

А во всём остальном малыш прекрасный ребёнок. В перерывах между галактическими взрывами он тихий и нежный. Общителен невероятно! Заговаривает со взрослыми, детьми, кошками, собаками, самолетами в небе, птицами – всем и всему бесконечно радуется. Кричит: «Ку-ку! Ку-ку!» – это у него такое приветствие вместо «здравствуй».

Останавливаемся у газетного киоска, малыш заглядывает в окошко и приветствует киоскершу: «Ку-ку!» Однажды, гуляя рано утром, встретили одинокую черепаху в песочнице, видимо, забытую кем-то из ребят. Надо было видеть, как малыш пытался наладить с ней контакт! Сначала долго молча изучал. Потом приблизился осторожно и – вопросительно: «Ку-ку?»

В ответ – молчание. Более требовательно: «Ку-ку!» Молчание.

И уже настойчиво, удивлённо, возмущённо: «Ку-ку! ку-ку! ку-ку!»

Был страшно удивлён её безответностью. Ведь обычно ему все отвечали, даже птицы, даже собаки, по-своему, но отвечали.

Подобная сценка произошла и с картофелиной. Лежала большая бугристая картофелина в углу кухни, не картофелина – а существо некое со своей физиономией, не валялась в углу – а жила, и малыш её всячески обхаживал: «Ку-ку!» да «ку-ку!» И удивлялся, что нет ответа…

* * *

Любит воду. Во всех её видах и проявлениях: дождь, пенистая струя из водостока, ручеек в лесу – всё вызывает в малыше восторг. Стихия воды, в любом, самом скромном обличье, манит его, влечет, даже если это всего-навсего тоненькая струйка из крана…

Готов плескаться весь день. Выношу большой таз с водой на лоджию, на солнышко, и малыш пускает рыбок и уток, поливает себя из лейки, а заодно и цветы в ящиках…

Ходим на бухту. Бесстрашно бежит к воде – и хохочет, как от щекотки, когда волна, пенясь, накатывает на ножки…

Но всё же самое незабываемое купание этого лета было купание не в бухте, а в луже. После июльского дождя. Вышли на прогулку. Малыш весь в белом: белая, с жёлтым утенком, майка, белые шорты, белая кепка на каштановых кудрях.

А её величество лужа лежала посреди дороги, необъятная, как море, и ярко сверкала на солнце… Малыш отпустил мою руку и понесся так стремительно, что я даже ахнуть не успела, как он уже лежал посреди мокрого сверкания, отчаянно барахтаясь, подымая тучи брызг и визжа на весь двор… Белая кепка соскочила с каштановых кудрей и поплыла по луже корабликом…

Я бросилась к незадачливому мореходу на помощь. Вырвав его из объятий стихии, подхватила на руки. По испуганному, искривленному плачем лицу, минуту назад румяному и весёлому, текли грязные капли, смешанные с горючими слезами…

Через полчаса мы вновь вышли во двор. Ты опять был чистеньким и весёлым, но на этот раз – настороженным. Лужа, величаво раскинувшись на дороге, невозмутимо сверкала на солнце. Мы пошли в обход, малыш цепко держался за мою руку.

* * *

Познакомились в сквере с маленьким Алёшей, ему тоже полтора года.

Мы с Алёшиной мамой сидели на скамье, а наши сыновья старательно, но безуспешно лепили из сухого песка куличи. Впрочем, сизифов труд ничуть не огорчал вас, а наоборот – завораживал! Ты с восторгом смотрел, как рассыпаются, утрачивая свои очертания, песочные рыбки и домики, как растекаются они бесшумными струйками по бортику песочницы… Ты смотрел на эти, непостижимые для тебя, превращения песка, а я смотрела на тебя… Почему меня так притягивают твои

простодушные игры? Какой затаенный смысл пытаюсь я уловить в них, какой читаю ответ?… Моё стремление быть каждую минуту с тобой – быть *тобой* – не тоска ли это по утраченному раю?…

Играю с тобой – и сама превращаюсь в ребёнка: с упоением строю дома из песка, собираю камушки… Порой мне кажется, что старость я пережила в детстве. Слишком рано я задумалась о смерти, слишком рано задумалась о том, почему слабый и беззащитный всегда бывает бит и унижен… Не могу вспомнить, чтобы я безмятежно радовалась жизни. Так – мгновения, искорки… Теперь – с тобой – я переживаю детство.

Простодушная радость детства, я обретаю тебя, как утраченный рай… Будьте, как дети…

Алёшина мама тем временем жаловалась мне:

– Не могу передать, как я устаю от него за день. Вы только представьте: целый день я с ним одна! Ведь это же с ума можно сойти. Только вечером, когда муж и родители с работы приходят, могу отключиться от него. Сходить в кино, или просто погулять. Жду вечера, как спасения…

Она искала у меня сочувствия. Она мечтала о том времени, когда отдаст своего Алёшу в детсад. А я смотрела на тебя, поглощенного своей загадочной, магической игрой, и с болью чувствовала, как утекают, утекают безвозвратно, словно песчинки, неповторимые, золотые минуты твоего детства…

* * *

Малыш, что унесешь ты с собой из своего раннего детства?…

Вспомнишь ли ты когда-нибудь этот жасминовый куст, осыпанный белыми звёздами цветов? Или благоухающую вселенную цветущего шиповника, жарко гудящую шмелиными голосами?… А наши лиственницы? В дни твоего детства они были ростом с тебя. Зато травы были выше тебя…

Каждая прогулка по нашему скверу была для тебя настоящим путешествием! Сначала мы отправлялись к лиственницам. Три зелёные пушистые сестры, их макушки едва выглядывали из травы. В каждый наш визит ты мерялся с ними ростом. В то лето – наше второе – им так и не удалось обогнать тебя…

Мы путешествовали дальше. К нашему шиповнику, царственно раскинувшемуся в центре сквера. Шиповник зацветал в первые дни лета и цвел до глубокой осени, до первого снега…

А наш жасмин! Вспомнишь ли ты, как он полыхал в дальнем

уголке сквера белым костром? Ах, как он сиял, особенно в сумерках!…

А нашу липу вспомнишь? Ты так любил сидеть в ложбинке между ветвей, сосредоточенно наблюдая полную загадок жизнь муравьев, снующих по морщинистой коре… Может быть, именно в эти минуты сосредоточенного безмолвного созерцания в тебе зарождался будущий энтомолог?…

А наша заячья капустка! В дни позднего лета и ранней осени над её малиновыми соцветиями трепетала в жарком танце толпа пестрых бабочек… Ты опускался на корточки и замирал в немом восторге, а бабочки, принимая тебя за цветок, садились тебе на плечи, на тёмно-каштановые волосы, почти касались розовых, как два лепестка, щек…

А когда наш клен укрывал дорожку мягкой тенью, ты долго и самозабвенно играл на дорожке камушками…

Вспомнишь ли ты когда-нибудь, став взрослым, эту маленькую цветущую планету твоего детства? Вспомнишь ли себя, сидящего среди заячьей капустки с жёлтой капустницей на загорелом плече? Мальчика, в раздумье перебирающего камушки на нагретой солнцем дорожке…

* * *

Вспомнишь ли ты, как неожиданно научился читать? Тебе не было и двух лет…

Одно из моих самых любимых воспоминаний: ты сидишь у меня на коленях.

Я печатаю на машинке.

– Яботаем, – важно говоришь ты.

Ты внимательно следишь за моими пальцами, ударяющими по круглым клавишам. Все клавиши одинаковые, но очень скоро ты начинаешь различать на них неодинаковый рисунок.

– То это? – спрашиваешь ты.

– Буквы, – говорю я, не переставая настукивать по клавишам.

– Какая бука? – тычешь пальцем в клавишу.

– О, – говорю я, не отвлекаясь от работы.

– А тэта?

– Это – дэ, – говорю я. Но тут же спохватываюсь и уточняю: – Д! Д!

– Д! – старательно повторяешь ты. – А тэта?

– Л! Нет, не «лэ». И не «ль». Коротко: л!

Ты очень стараешься. Где-то с пятой попытки у тебя получается так, как надо.

– А тэта? А тэта? – не унимаешься ты. Глаза твои горят любопытством.

– Вряд ли ты запомнишь, – говорю я. – Их так много…

Но всё же отвечаю. Я знаю: всё равно ты не успокоишься, пока не получишь ответа.

Так мы и работаем вместе – день за днём. Ты уже умеешь вставлять в машинку бумагу, научился двигать каретку. Пробовал печатать. Но пальцы ещё слабы, и тебе не удалось пока ударить по клавише с достаточной силой.

– Ничего, со временем научишься, – ободряю я тебя.

Всё время звенит твой голосок:

– Какая бука? А тэта? А тэта?…

* * *

На стене в комнате – старая пожелтевшая афиша. Но крупные тёмно-красные и ярко-синие буквы не выцвели, не выгорели. Малыш сосредоточенно смотрит на афишу. В голове его идёт напряжённая работа. Переводит на меня изумленный, обрадованный взгляд:

– Буки? Это – буки? – делает он открытие.

– Буквы.

Малыш стремительно вскарабкивается на стул, становится на цыпочки, чтоб дотянуться, и его маленький пальчик тянется к огромной заглавной букве:

– Л?

– Правильно, – удивленно говорю я.

– Е?

– Да…

Глаза малыша разгораются азартом. Он выкрикивает звонко, всё более и более воодушевляясь:

– О! Н! И! Д! Е! Н! Г! И! Б! А! Р! О! В!

– Постой, постой, малыш, ты что, все буквы уже знаешь?

Я в недоумении. А сын полон азарта и восторга. Пальчик быстро-быстро бежит дальше:

– Ц! И! Р! К! П! А! Н! Т! О! М! И! М! А!

Светясь радостью, с пылающим от возбуждения лицом:

– З! В! Е! З! Д! Н! Ы! Й! Д! О!…

Недоуменная пауза.

– Ж, – подсказываю я. – Ж – жук. Видишь, она похожа на жука?

Малыш старательно повторяет, тыча пальчиком в синего громадного «жука»:

– Жук! Жук!

– Конечно, это не жук, малыш, это буква «ж». Не «жук» и не «жи», а «ж»! – спохватываюсь я, но – поздно.

– Жук! – убежденно говорит малыш. – Басей жук! Агомый!

…И в течение нескольких месяцев, уже научившись читать, малыш упорно произносит:

– Дожукдь (вместо «дождь»), жукил (вместо «жил»), жукук (вместо «жук»).

Помню:

Ты лежишь на тахте, закинув руки за голову и ногу на ногу. Горящий, влюбленный взгляд твой устремлен на афишу:

– Абаззяю! Абаззяю буки!… – восклицаешь ты, почти выпеваешь свое признание, и нежный и страстный вздох стесняет твою грудь, почти стон, полный умиления и блаженства…

* * *

Помнишь ли ты свое «помешательство» на буквах?

Ты видел свои любимые «буки» во всём: в силуэтах деревьев, в бензиновых разводах на асфальте, в рисунках луж, в пышных письменах облаков, в росчерках дождя на оконном стекле…

Любимой твоей игрой было составлять буквы из всего, что попадет под руку: пуговицы, палочки, яркие пластмассовые гайки, кольца пирамиды, красные ягоды боярышника, камушки и даже макароны, вытащенные потихоньку из шкафа!

А ещё ты обожал делать буквы «из себя». Каждый день с неубывающим вдохновением и азартом ты разыгрывал пантомиму «БУКВЫ». О, это был настоящий театр одного актера!…

* * *

А как мы с тобой гуляли в тёмных осенних дворах,

помнишь?…

Жгли листья, и ты неизменно тянул меня к костру. «Агаек!» – радовался ты. Мы подолгу стояли у костра, подбрасывая в него сухие ветки, молчали и смотрели в огонь…

Почему тебя всегда манил огонь? Что тебе виделось в его огненных звёздных глубинах, когда так зачарованно, не мигая, ты смотрел в светлое, трепещущее пламя?… Расскажешь ли ты когда-нибудь? Вспомнишь ли?…

* * *

Уже несколько дней, как лег снег – в середине октября!

Малыш, ещё недавно, летом, визжащий от ужаса на качелях, неожиданно нашёл способ преодоления своего страха перед укачиванием: целыми днями он качается в кресле-качалке. Я сижу за машинкой, а он, сосредоточенно думая о чём-то своем, обняв Тигру, поджав под себя ноги, качается в огромном плетеном кресле, маленький, сосредоточенно-задумчивый. Когда он задумывается о чём-то своем, так, что даже не откликается на мой зов, его тёмно-золотистые глаза темнеют и становятся совершенно чёрными и бездонными…

«Ау, малыш!» Он светло и рассеянно улыбается мне в ответ.

Сыплется за окнами светлый, легкий снег нашей новой зимы, сыплется, заметая золотые вороха неубранной листвы, наш сквер (на днях мы ещё нашли на нашем шиповнике два цветущих цветка!), сыплется, засыпая наш клен, сбросивший свой золотой поредевший шатер себе под ноги, засыпает нашу милую тропинку, ещё не остывшую под ранним снегом, наши милые камушки, затерявшиеся в листве и снеге…

Скрип-скрип, покачивается тёплое плетёное кресло, как большая летняя лодка, как огромный кленовый листок, скрип-скрип, ты в нём – маленький, как дюймовочка, печальный и загадочный в своей отрешенной сосредоточенности на неведомом, скрип-скрип, поскрипывают золотые колесики в твоих детских часах с прозрачным корпусом, они стоят на подоконнике, между тобой и сыплющимся снегом, скрип-скрип…

* * *

«Будьте, как дети…» В чем смысл этого завета?… Кто из нас, вырастая из детских одежек, не растратил при этом чудесных способностей: смеяться, когда смешно, и плакать, когда страшно или больно? Нам хочется рассмеяться – но мы строим серьезную мину и вежливо поддакиваем. Нам хочется плакать, нам причинили боль – но мы благодарим, улыбаемся, пожимаем обидчику руку… Всё навыворот в нашем, взрослом, мире. Всё перевернуто с ног на голову.

«Будьте, как дети…»

Ах, как хочется порой стать ребёнком! Выплакаться от души и от души посмеяться. Сказать дураку, что он дурак. Крикнуть звонко, безбоязненно: «А король-то голый!…» А тому, кого любишь, сказать тихо и просто: «Люблю», не раздумывая, стоит или не стоит говорить это. И вдруг увидеть, что небо – синее, снег – белый, роза пахнет розой, а жизнь создана для радости и удивления…